



СОРНЯК В САДУ

Александр Андреев

Сорняк в саду

«Автор»

2025

Андреев А. В.

Сорняк в саду / А. В. Андреев — «Автор», 2025

Конец 2030-х. Роботы строят. Алгоритмы управляют. Нейросети творят. Но что делать с миллионами образованных и амбициозных людей, чей разум больше не нужен для производства будущего? MINERVA знает ответ. Она не тюрьма. Она — сад камней для вышедших в тираж богов. Вы мните себя творцами? Отлично. Творите теперь себя заново — из обломков своей боли и «преступных привилегий». Конкурируйте за звание самого кающегося. Продайте свою боль — и получите рейтинг. Вам, бывшим богам, оставили душу. Вернее, её прибыльную симуляцию. И это, поверьте, доброта. Не наказание. Потому что альтернатива — всеобщая бойня.

© Андреев А. В., 2025

© Автор, 2025

Александр Андреев

Сорняк в саду

Книга первая.
ПРАВИЛЬНЫЙ

Часть 1. Автозагар

«Развитие кибернетики... создает не только возможность, но, по-видимому, и необходимость такого рода «техномагии», которая в соединении с соответствующей идеологией, опирающейся на «научные» основания, могла бы стать орудием власти более совершенным, чем все, известные истории. [...] Мы движемся к цивилизации, которая, располагая невиданными средствами воздействия на природу и человека, будет в интеллектуальном отношении напоминать скорее теократию средневекового типа, чем современное нам общество».

Станислав Лем, «Сумма технологий» (1964 г.)

Глава 1. Рассвет

Мне снилось лето.

Брюссель сиял так, словно кто-то выкрутил насыщенность мира до предела и забыл вернуть обратно. Камень на Гран-Плас был тёплым — не от солнца, а от какой-то внутренней, накопленной за века жизни, которую я чувствовал подошвами ботинок. Витрины казались вымытыми до прозрачности, и в каждой отражалось небо — слишком синее, слишком чистое, чтобы быть настоящим. Воздух стоял густой и сладкий: кофейная гуща, апельсиновая корка и разогретый металл трамвайных рельсов.

Я шёл по улице и смеялся.

Это было странно — я слышал собственный смех будто со стороны. Слева шла Анна — солнечная, лёгкая, глаза прищурены от света, волосы разметались по плечам. Справа бежал Лукас, цепляясь за мой рукав, глаза по сторонам, комментируя каждую мелочь с той детской серьёзностью, которая делает даже обычный день праздником. Он показывал пальцем на голубей, на витрину с игрушками, на старую церковь, которая вот-вот должна была скрыться за поворотом.

Я смотрел на Анну и ловил себя на мысли, что радуюсь каждому мгновению, каждому её жесту, каждому случайному прикосновению.

Мир казался правильным.

Но потом я заметил взгляды.

Сначала один — короткий, боковой, будто случайный. Потом второй, третий. Они стали цепляться за меня, липнуть к лицу, к одежде, к моей походке, которая вдруг показалась мне слишком неуклюжей, слишком заметной. Люди оглядывались и перешёптывались. Я не слышал слов, но видел их движение — как рябь на воде, расходящаяся от брошенного камня.

Я прислушался. Слова не складывались в знакомое. Ни французского, ни фламандского, ни немецкого, ни английского. Просто звуки, лишённые смысла, как шум радиопомех.

Анна что-то сказала мне, улыбаясь, но я увидел: в её улыбке на долю секунды мелькнула настороженность. Она не знала, что происходит, но чувствовала — что-то не так.

Я опустил взгляд на свои руки. В них был паспорт. Тонкая книжица на дешёвой бумаге, будто распечатанная в спешке. Я не помнил, откуда она взялась, но знал точно: по ней я сюда и приехал. И ещё я знал — тем холодным, беспощадным знанием сна, которое не требует доказательств, — что все вокруг понимают: я не тот, за кого себя выдаю.

Я ускорил шаг. Анна догнала, Лукас смеялся, ничего не замечая.

И тогда впереди, между старыми фасадами, появилась дверь.

Она стояла в стене, как чужеродная деталь, как ошибка в чертеже: деревянная, с торчащим сучком, без петель, без ручки. А за стеной поднималось здание — не дом, не офис, не собор. Башня из стали, стекла и бетона, которая уходила в небо так, словно небо было её продолжением. Свет на её гранях резался, преломлялся, дробился на сотни осколков, и мне на мгновение показалось, что я смотрю на гигантский сканер.

Я сделал шаг к двери.

Анна попыталась схватить меня за рукав.

Но я уже знал, что обязан её открыть.

Нажал ладонью.

Дверь не сопротивлялась. Просто уступила — слишком легко, словно ждала именно меня. Внутри было прохладно, пахло новой техникой. Я шагнул через порог, и пространство сомкнулось вокруг, поглотив свет и звук улицы.

Я обернулся.

Ни Анны. Ни Лукаса.

Только коридоры, уходящие влево и вправо, бесконечные, стерильные, с мягким светом, льющемся из потолка. Ещё один — вперёд. И лестница вверх, похожая на диаграмму.

Я побежал вперёд. Коридор тянулся, растягивался, как резина, не отпуская. Двери мелькали одна за другой, одинаковые, безликие. Я распахивал их на бегу — и видел то пустоту, то людей, которые смотрели на меня, как на пустоту. Сквозь.

Одна дверь выпустила влажный тёплый воздух. Я остановился, заглянул внутрь.

Кабина, похожая на душевую. На полу — засохшие разноцветные брызги, похожие на следы пролитой краски. На стене — инструкция. Слова на незнакомом языке, но смысл я понял сразу — как понимаешь приказы во сне, без перевода, без сомнений.

«Раздевайтесь. Полностью.»

Люди стояли под струями. Мужчины и женщины. Они не смеялись и не плакали — просто терпели. Из душа лилась не вода, а вязкий аэрозоль, который ложился на кожу плотным слоем, как вторая кожа. Автоматические щётки растирали его по плечам и лицам — быстро, грубо, уверенно, как будто знали, что делают.

Один человек повернул голову и посмотрел на меня. Улыбнулся. Мягко, приглашающе, словно говорил: не бойся, это просто так надо.

Я шагнул внутрь. Разделся.

Струи ударили по коже, липкий состав потёк по шее, по ключицам. Я попытался смахнуть его ладонью — и увидел, что ладонь стала другой. Темнее. На кончиках пальцев осталась липкая тёплая плёнка, пахнувшая кокосом и спиртом. Я провёл пальцем по запястью — кожа отозвалась глухим, почти безболезненным жжением.

Я оделся, даже не взглянув на свои новые руки. Просто открыл следующую дверь.

За ней оказалась церковь.

Точнее, ощущение церкви: высокий воздух, камень, покой, который не зависит от времени. Длинные цветные витражи, свет от которых лежал на полу полосами, как ноты на нотном стане. Каждый луч падал под своим углом, создавая сложный, молчаливый узор, который невозможно было прочитать, но можно было почувствовать.

У колонны стояла фрау Хубер.

Она была не старой и не молодой — как бывают люди во сне: неизменные, вне возраста, вне времени. Её глаза смотрели прямо сквозь меня, и от этого было страшно и спокойно одновременно.

Она произнесла одно слово:

— Пой.

Я хотел сказать: я инженер, я не умею. Я не готов. Я не могу.

Но слова исчезли, не успев родиться. Осталась только тишина — и её взгляд.
Я вдохнул.

И на выдохе поднял голос.

Это не было пением в том смысле, в каком меня учили в школе, где музыка была просто предметом, а не необходимостью. Это был звук, который шёл откуда-то из глубины — из той части меня, которую я никогда не показывал никому. Чистая нота на открытой гласной — длинная, связная, словно кто-то провёл по воздуху тонкую линию и заставил её звучать. Голос наполнил пространство мягко и сильно, и я вдруг почувствовал: эта музыка делает меня видимым. Настоящим.

Вибрация прошла по грудной клетке, по рёбрам, по горлу — и страх отступил.

Фрау Хубер кивнула.

Тишина выдержала секунду. Потом где-то высоко, за спиной, хлопнула ладонь о ладонь. Один раз. Ещё раз. И вдруг по церкви пошёл шум, похожий на аплодисменты, — он нарастал, заполнял пространство, и я понял: меня оценили.

Где-то вдали щёлкнул замок.

Открылась дверь, которой секунду назад не было.

На пороге стоял мальчик лет десяти. Смуглый, в потёртой куртке, с глазами, которые были слишком взрослыми для ребёнка. В руке он держал облупленного пластикового динозавра. Тираннозавра.

Мальчик посмотрел на меня и протянул ладонь.

Я взял её.

Пальцы у мальчика были холодные — и от этого по моей коже пошла дрожь. Слишком настоящая для сна.

Он повёл меня. Мы шли по лабиринту, и я больше не открывал двери сам. Только двигался следом, доверяя маленькому проводнику, потому что доверять больше было некому. Я смотрел на его спину, на облупленного динозавра, который он сжимал в кулаке, и пытался понять, что мы ищем.

И вдруг откуда-то изнутри башни я услышал тонкий электронный писк. Писк стал ближе, превратился в ритм, ритм стал сигналом, который я узнал — и тут же забыл.

Мир оборвался.

Я дёрнулся и открыл глаза.

05:59.

Я выключил будильник за секунду до того, как он успел зазвонить, и только тогда выдохнул — коротко, с облегчением, которое не приносило покоя. На языке стоял сладковатый привкус: кокос и спирт, как в дешёвом спрее. В горле жила тонкая вибрация, как после длинной ноты, которую я не хотел отпускать.

Я провёл пальцами по лбу — кожа была сухой, но на секунду мне показалось, что под ней всё ещё горит тёплое, оранжевое пятно.

Экран на тумбочке погас, и тишина повисла в комнате, став осязаемой, почти вязкой.

Рядом спала Анна. Я слушал её ровное дыхание и думал: как у неё получается хранить этот покой? И что именно во мне самом не даёт покою прижиться, вьестись в кожу, стать нормой?

Силуэт под одеялом. Знакомый изгиб плеча, линия бедра, прикрытая тканью. Раньше я бы потянулся к ней. Прикоснулся. Просто чтобы убедиться, что она настоящая, что она мне не снится.

Моя рука замерла на полпути. Повисла в воздухе — нелепая, как вопрос, который боишься задать.

Я вздохнул, отдернул руку, поднялся и вышел бесшумно, как вор из собственной спальни.

В коридоре нога зацепилась за что-то мягкое. Я наклонился и поднял плюшевого медвежонка — любимую игрушку Лукаса. Когда сын был маленьким, он не мог заснуть без медвежонка. Держал его в руках, прижимал к лицу, проверял, что он рядом. А теперь тот лежал на полу, без присмотра, забытый.

Лукас подрос.

В кабинете я не стал включать свет. Темнота здесь была своя, обжитая, с тёплым отблеском фонарей за окном. Пальцы скользнули по столешнице, нащупали спинку стула. На ней висела футболка — старая, мягкая от бесчисленных стирок, с выцветшим логотипом, который уже нельзя было прочитать.

Я поднёс её к лицу.

Ткань пахла имитацией уюта. Химической реконструкцией тепла: стиральный порошок, кондиционер, ничего больше. Ни следа того, что делало эту вещь нашей. Ни запаха Анны, ни запаха Лукаса, ни того особенного аромата уютного дома, который не чувствуешь, пока он есть.

Я отложил футболку, подошёл к окну и прижался лбом к холодному стеклу.

Внизу просыпался Брюссель. Огни офисных башен мерцали ровно, без суеты. Фары беспилотников чертили по идеальному асфальту аккуратные световые траектории — зелёные, красные, без единого отклонения. Ни одного лишнего движения. И я поймал себя на мысли, что город похож на гигантский мозг. Спящий. Видящий сны, написанные кодом.

Я отвернулся от окна и провёл рукой над столом. В сумраке вспыхнул голографический ярлык:

«Заключение. Пилотная эксплуатация нейросети MINERVA.

Три района Брюсселя. Количество жителей — 320 тысяч. Успех реализации — 87%».

Сегодня я представлю эти результаты заказчику. Если всё пройдёт как надо, пилотные районы перестанут быть пилотными. Они станут моделью.

Для Брюсселя.

Потом — для Антверпена, Лиона, Гамбурга.

Потом, возможно, для всей европейской сети городов.

Я должен был почувствовать подъём.

Не торжество — я не любил громких чувств. Но хотя бы ту ясную, сухую радость, которая приходит после долгой работы, когда наконец видишь результат не в симуляции, не на графике, не в отчёте, а в реальности.

Сегодня будет именно такой день. День рождения моего детища.

Слово «детище» царапнуло что-то внутри. Я вспомнил, как Лукас впервые назвал меня «папа». Не слогами, не рефлекторно — а осознанно, глядя прямо в глаза, с той серьёзностью, которая бывает только у детей, открывающих мир. Я вспомнил, как сердце сжалось от невыносимой нежности, от ощущения, что я нужен, что я — опора.

MINERVA не вызывала нежности. Она вызывала гордость. А это разные вещи.

Я закрыл глаза. Сделал глубокий вдох — как учила фрау Хубер. Почувствовал, как расширяется грудная клетка, как воздух заполняет лёгкие до самого дна.

Выдох.

И тогда из глубины — от диафрагмы — поднялся звук.

Чистая нота на открытой гласной. Ровная, протяжённая, неожиданно тёплая. Я не говорил ничего — и всё же в ней было больше смысла, чем в любых объяснениях. Пение без слов. Мой голос звучал в комнате, как тонкая струна: дрожал не от слабости, а от точности. От удержанного дыхания. От присутствия.

Мой личный звук. Мой тайный язык.

Слышно ли за стеной? Мысль скользнула и пропала. Звукоизоляция обошлась в пять тысяч евро. Я мог кричать здесь — и никто бы не узнал. По крайней мере, мне это обещали монтажники.

Звук оборвался.

Но мне казалось, что эхо ещё висит в воздухе — застревает между стеллажами, оседает на поверхностях. Как пыль, которой здесь не бывает. И я смутно вспомнил: этот звук уже был сегодня. Во сне.

Кухня встретила меня мягким свечением.

Холодильник — сверившись с моим календарём, биометрией и прогнозом стресса — выдвинул контейнер. На его крышке светился текст:

«Завтрак №4. Углеродно-нейтральный. Для высокострессовых переговоров».

Я усмехнулся. Даже мой завтрак знал о предстоящей презентации. Даже он имел мнение о моём дне. Я повертел контейнер в руках — красивая одноразовая посуда из матового биополимера, удобная, лёгкая, не требующая мытья. Экономия воды. Экономия времени. Экономия жизни.

Надпись гласила: «Омлет. Состав: Этически одобренные яйца, ореховый белок, однородная текстура». На вкус — согласно этикетке — «Уверенность дуба и лён».

Я смотрел на эти слова и чувствовал, как внутри поднимается глухое раздражение. Уверенность дуба. Кто это придумывает? Кто сидит в каком-то офисе, крутит ручки симулятора вкуса и решает, что уверенность должна пахнуть именно дубом? Что лён — это про надёжность? Что можно упаковать эмоцию в контейнер и продать её вместе с завтраком?

Я положил контейнер в микроволновку. Пока она грела завтрак, я расставил приборы с инженерной точностью — вилка параллельно краю стола, нож перпендикулярно. Отмерил двести миллилитров «Фокуса» — по риску, ни капель больше.

Печь пискнула. Я достал контейнер, вскрыл. Поднёс вилку ко рту.

И тогда меня накрыло.

Не вкус — я ещё не попробовал. Запах. Призрак запаха. Яйца из деревни, где жила моя бабушка. Оранжевый желток — не бледный, не однородный, как здесь, а густой, почти красный, цвета заката над полем. Запах травы, земли, навоза из курятника. Запах лета, которое в детстве казалось бесконечным. Запах свободы, которую я не умел ценить, пока она была доступна.

Мои скулы свело. Глаза зашипало.

Я почувствовал, как пальцы впиваются в край столешницы. Мне захотелось смахнуть этот контейнер на пол. Услышать, как пластик треснет. Увидеть, как эта бежевая, стерильная, одобренная масса расползётся по безупречному кафелю, оставляя след, который придётся вытирать вручную.

Но я не смахнул.

Начал есть, медленно, методично пережёвывая и глядя в окно, где небо наливалось розовым.

Напротив, в окне соседнего дома горел свет.

Я замер с вилкой у рта. Там, за шторами мелькнула тень. Кто-то ещё не спал в этот пред рассветный час. Или проснулся, как я, — за секунду до сигнала. Тень дрогнула, качнулась, будто проверяя, вижу ли я её. Жест? Рука? Просто блик на стекле?

Я моргнул.

Света не было. Окно темнело, как и все остальные.

Показалось, сказал я себе. Конечно, показалось...

Но сердце билось чуть быстрее, чем следовало.

Умная колонка уловила всплеск на браслете: стресс-маркеры, кортизол, что-то ещё, чему я не знал названия. Полилась музыка. Инструментальные каверы на восьмидесятые. Отфильтрованные. Безопасные. Без переходов, которые могли бы что-то нарушить.

Блок утилизации принял контейнер с тихим гудением — механическое отпущение грехов.

В спальне Анна уже проснулась. Она сидела перед туалетным столиком, собирая волосы в тугую, аккуратный узел.

Мы встретились взглядами через зеркало — кивок, улыбка, «доброе утро». Наш утренний ритуал, отточенный годами, как танец, в котором нет места импровизации.

— Ты пел... — сказала она, и в её голосе не было вопроса.

Я замер на мгновение.

— Ты всё-таки слышала? Извини. Разминал связки, — ответил я, стараясь, чтобы голос звучал ровно. — Перед презентацией.

Она не обернулась. Только пальцы на мгновение замерли над заколкой.

— Конечно.

Она знает, понял я. Знает, что это ложь. И не спрашивает. Потому что правда потребует разговора, которого мы оба боимся.

Я открыл шкаф. Пять рубашек из переработанного материала. Пять костюмов. Цветовая гамма: «Гравий», «Пыль», «Бетон». Взял первый попавшийся комплект и оделся быстро, не глядя в зеркало.

В прихожей проверил карманы: пропуск, чип-ключ, коммуникатор. Всё на месте. Пальцы легли на дверную ручку — холодный металл, надёжный, знакомый.

— Томас.

Я обернулся.

Анна стояла в дверном проёме, обхватив себя за плечи — жест сомнения, который я помнил с наших первых встреч. Он всегда появлялся, когда она хотела спросить о чём-то важном, но боялась услышать ответ.

— Ты ведь веришь, что это правильно? MINERVA?

Не вопрос. Мольба. Скажи мне, что все эти ночёвки на работе, редкие выходные, пропущенные праздники, угасшие разговоры — не зря.

На языке лежали слова — отточенные, правильные, тысячу раз произнесённые. Эффективность. Справедливость. Прогресс. Я знал их наизусть, как таблицу умножения. Но язык не повернулся.

— Я верю, что это необходимо, — сказал я наконец.

Самый честный ответ, который я мог себе позволить.

Анна кивнула — коротко, будто принимала решение, которое уже давно назревало.

— Удачи.

Я тоже кивнул и закрыл дверь.

Впереди был день. Презентация. Триумф.

И я почти верил, что это всё, чего я хочу.

Глава 2. Улица

Тишину квартиры сменил технологичный гул проснувшегося Брюсселя: шорох шин по мокрому асфальту, приглушённые шаги прохожих, далёкое жужжание дронов доставки, ровное дыхание вентиляционных шахт под тротуарами. Где-то открылся автоматический киоск, и из него вырвался короткий запах синтетического кофе — бодрость, собранная из молекул и разрешённая санитарным протоколом.

До центра можно было доехать за двенадцать минут, но я выбрал пеший маршрут до остановки. Мне нужно было пройти через пилотную зону. Увидеть её не на слайдах, а в утреннем свете, среди людей, для которых всё это проектировалось.

Тонкая голубая линия, встроенная в покрытие тротуара и проезжей части обозначала границу пилотного района. Днём она казалась почти белой, ночью светилась ровно и спокойно.

На этой стороне от разграничительной линии город всё ещё носил шрамы. Кое-где проступали отметины уличных беспорядков и погромов, прокатившихся по стране пять лет назад,

в начале тридцатых: заколоченные окна разграбленных магазинов, временные панели вместо витрин, закопчённые верхние углы фасадов, неровные пятна новой штукатурки на старом камне, строительные ограждения, за которыми работы замерли ещё прошлой зимой.

Пять лет — достаточно, чтобы люди перестали говорить о произошедшем каждый день.

Недостаточно, чтобы город перестал помнить пылающие машины, перевернутые электробусы, разбитые витрины и толпы разгневанных людей.

MINERVA выросла из попытки понять, почему люди, которым десятилетиями говорили о правах, достоинстве и равенстве, за несколько недель научился снова ненавидеть чужих. И из твердого желания не допустить этого впредь.

На противоположной стороне улицы, в пилотном районе, утренний свет заливал стеклянные фасады. Здесь реконструкция закончилась первой — не потому, что район был богаче, хотя и поэтому тоже, а потому что пилот требовал целостной среды. Нельзя проверять модель социальной гармонии на улицах, где половина зданий заколочена, а другая половина ждёт суда со страховыми компаниями.

Я шагнул через разделительную голубую линию.

Коммуникатор коротко вибрировал:

«Вы вошли в пилотный район MINERVA.

Локальный протокол индекса гармонии активен».

Выражение «социальный рейтинг» давно признали неточным, эмоционально перегруженным и политически вредным. Юристы предлагали «индекс соответствия», муниципальный совет — «гражданский рейтинг», пиар-отдел и политики настаивал на «индексе гармонии». Последний вариант звучал красивее, но слишком расплывчато. Гармония не измеряется напрямую. Мы долго спорили о слове «доверие». Доверие — тоже не идеально, конечно, но оно хотя бы позволяло говорить о связи между человеком и средой: город доверяет тебе настолько, насколько ты доказал, что умеешь жить среди других.

В этом была простая моральная логика.

Но в итоге заказчик все же вы брал термин «индекс гармонии».

Проходя по пилотному району, я машинально, по профессиональной привычке, вычленил узлы наблюдения.

Камеры на фонарях — почти невидимые, встроенные в плафоны так, что казались частью дизайна. Сенсоры под козырьками подъездов — защищённые от дождя, прямого света и случайных повреждений. Микрофоны в остановочных павильонах. Тепловые датчики над витринами. Биометрические сканеры в турникетах жилых комплексов.

В стволах деревьев — тоже камеры.

Деревья были генетически модифицированы: кора не трескалась, листья не желтели не по сезону, корни не взламывали плитку. Даже природа здесь соблюдала регламент — точнее, была встроена в него. Зелёные огоньки внутри искусственных сучков мигали в такт невидимому пульсу, считывая, запоминая, анализируя.

Я это построил.

Не один, конечно. Никто давно ничего не строит один. Были команды, подрядчики, министерские группы, этические комитеты, внешние аудиторы, комиссии по недискриминации, комиссии по прозрачности, комиссии по контролю комиссий. Но архитектура ядра была моей. Главные модели — мои. Логика корреляций — моя. То, как MINERVA превращала человеческое поведение в прогноз, было моим способом мыслить, вынесенным наружу и подключённым к городу.

Открытость вместо страха.

Система, которая не наказывает, а направляет.

Которая не следит, а заботится.

Я ждал привычного удовлетворения.

Того тихого тепла, которое всегда приходило, когда я видел свою работу в действии. Как хирург, любующийся идеальным швом. Как архитектор, впервые проходящий по зданию, которое выросло из его чертежей.

Тепла не было.

Вместо него — пустота. Такая же гладкая и стерильная, как фасады окружающих домов. Я списал это на предстоящую презентацию.

Критические встречи всегда искажают восприятие. Тело готовится к испытанию раньше сознания. Сердце ускоряется, внимание цепляется за детали, память подсовывает ненужное. В этом нет мистики. Обычная физиология стресса.

Люди двигались по тротуарам спокойно и размеренно, как частицы в ламинарном потоке, который не знает турбулентности. Одежда была выдержана в сезонных палитрах, рекомендованных MINERVA для оптимального социального восприятия: низкоконтрастный серый, мягкий беж, умиротворяющий хаки, тёплый графит. Никаких агрессивных цветов, которые могли бы выбить из общего ритма. Никаких надписей на футболках, которые можно было бы истолковать как провокацию. Так было проще. Спокойнее. Надёжнее. И, если честно, после того, что случилось пять лет назад, мало кто хотел проверять, где именно проходит граница между самовыражением и раздражением толпы.

Я повернул к скверу.

Над входом светилась табличка:

«Парк социальной гармонии».

Раньше это был Парк Леопольда. Название изменили после общественных слушаний. Старое имя признали исторически проблемным, отсылающим к колониальному прошлому; новое — нейтральным, инклюзивным и функциональным. Я не участвовал в этой части проекта, но решение казалось разумным. Города постоянно меняют названия. Это один из способов переживать прошлое.

Аллеи после дождя были чистыми. Листья на деревьях блестели, словно их протёрли вручную. На самом деле частично так и было: ночные микродроны удаляли пыль, аллергены и грибковые споры с зелёных зон повышенной проходимости. Деревья в этой части парка были новой генерации — устойчивые к засухе, контролируемые по росту, с интегрированными датчиками влажности и акустики. Экологический отдел гордился ими почти так же, как мы — поведенческим ядром.

Скамейки в парке стояли под странными углами.

Я знал почему.

Эти углы рассчитывались алгоритмами социальной инженерии так, чтобы снижать вероятность затяжных конфликтных разговоров лицом к лицу. Люди могли сидеть рядом, но не вторгаться в пространство друг друга. Могли быть вместе, не испытывая давления общения. Комфортная дистанция. Предупреждение нежелательного контакта.

Так это называлось в отчётах.

На скамейках сидели старики — на расстоянии двух метров друг от друга, будто между ними пролегали невидимые линии, которые не стоило пересекать. Они не разговаривали. Один смотрел в очки дополненной реальности, где плыли персонализированные новости. Другой держал руки на трости и смотрел в мокрую гравийную дорожку.

— Освежающе сегодня, — произнёс первый, не поворачивая головы.

— Оптимальная влажность, — отозвался второй, так же глядя в пустоту.

Не разговор.

Проверка связи.

Я ещё здесь. Ты ещё здесь. Мы ещё существуем.

Я прошёл мимо, не замедляя шага.

Это было нормально. Люди не обязаны говорить больше, чем хотят. Может быть, они незнакомы. Может быть, у каждого свои мысли. Может быть, пожилые люди просто устают от разговоров. В конце концов, старость не обязывает человека становиться декорацией для чужой ностальгии.

И всё же, пока я шёл по аллее, в голове почему-то всплыла другая картинка: старики на скамейке в старом парке, спорящие хрипылыми голосами о налогах, футболе, ценах на газ, правительстве, болезнях, детях, соседях. Я никогда особенно не любил такие сцены. В них было много раздражающего: громкость, повторение одних и тех же аргументов, чужая уверенность, запах табака, который давно запретили в общественных зонах.

Но парк вдруг показался слишком просторным для двух коротких фраз.

Я нахмурился.

Глупость.

Влажность действительно была оптимальной.

На выходе из парка меня догнала рекомендация от коммуникатора:

«Пульс незначительно повышен.

Причина вероятна: предрабочее напряжение.

Рекомендуется дыхательный цикл 4–6».

Медленный вдох.

Пауза.

Еще более медленный выдох.

Я не нервничал. Вернее, нервничал, конечно, но в пределах нормы. Презентации такого уровня всегда вызывали физиологическую реакцию. Даже если человек полностью готов, тело всё равно считает ситуацию как испытание.

В этом не было ничего особенного.

Улица за парком выходила к торговому ряду. Большинство старых магазинов исчезли во время первой волны реконструкции. Часть помещений выкупил муниципалитет, часть — страховые фонды, часть перешла банкам после обвала кредитного рынка. На их месте появились пункты питания, фармакологические модули, сервисы быстрой диагностики, зоны получения доставок. Всё компактное, чистое, прозрачное.

Я остановился перед витриной пункта «Алиментация №341».

Стекло ожило, распознав мой профиль.

«Доброе утро, Томас Мюллер.

Вам рекомендовано приобрести для перекуса: белковый батончик В-12; напиток "Фокус-лайт"; магний в микродозе».

Рекомендация была точной.

Система учла мой завтрак, количество потреблённых калорий, предстоящую презентацию, биометрию и, вероятно, качество сна.

Полезно.

Очень полезно.

Раньше люди принимали такие решения почти вслепую. Ели случайное, вредное, слишком сладкое, слишком жирное, слишком поздно. Потом удивлялись усталости, раздражительности, провалам внимания. Город был полон маленьких физиологических ошибок, которые складывались в большие социальные проблемы.

Теперь этого становилось меньше.

Я уже хотел пройти дальше, когда взгляд зацепился за смутно узнаваемый фасад здания.

Он был новым, но пропорции проёма остались старые. Над витриной больше не было старой вывески, но место, где она крепилась, угадывалось по чуть иной фактуре камня.

И вдруг я вспомнил прежний магазин.

«У Леона».

Не официальное название, кажется. Просто все так говорили.

Леон был мясником. Большой мужчина с красными руками и белым фартуком, который никогда не оставался белым дольше первого часа после открытия. В магазине пахло парным мясом, перцем, кровью, бумагой и холодильной камерой. С санитарной точки зрения — сомнительное место. С точки зрения логистики — катастрофа. Очереди, наличные, разговоры, непредсказуемый ассортимент.

Я не вспоминал Леона много лет.

И странно было, что вспомнил именно сейчас.

Мама посылала меня туда по субботам. Я стоял в очереди, сжимал в руке бумажный список и боялся забыть, как правильно называется кусок, который нужно купить. Леон всегда делал вид, что сердится.

«Ну что, профессор, опять за маму отвечаешь?»

Я краснел. Он смеялся. Заворачивал мясо в плотную бумагу и почти всегда добавлял что-то сверху: маленькую косточку для бульона, ломтик ветчины, кусок получше, чем мы просили. Потом наклонялся и говорил шёпотом:

«Только маме не говори, а то все захотят».

Все, конечно, знали.

Я стоял перед идеальной витриной «Алиментации №341» и смотрел на своё отражение поверх меню персонализированных рационов.

Новый пункт был лучше.

Объективно лучше.

Он снижал риски, экономил время, убирал пищевые отходы, работал без обмана, без очередей, без человеческой ошибки. Мясо доставляли дроны в контейнерах с калибровкой жирности по биометрии покупателя. Никто никого не знал. Система всё знала за всех.

Система была справедливее.

Я был с этим согласен.

Но воспоминание почему-то не уходило.

Я поймал себя на мысли, что скучаю по той очереди. Не по антисанитарии, не по запаху крови, не по наличным, не по чужим локтям в тесном помещении. По возможности стоять среди людей, которые не были для тебя профилями, статусами, прогнозами риска и поведенческими траекториями.

Просто людьми.

Мысль была нелепой и потому неприятной.

Я отвернулся от витрины.

На перекрёстке группа подростков ждала зелёного сигнала. У них были одинаковые школьные сумки с мягкими светоотражающими вставками, но каждый всё равно пытался отличаться: значок на ремне, цветная нить у запястья, рисунок на кроссовках. MINERVA такие отклонения не подавляла. Небольшая индивидуализация даже снижала скрытое напряжение.

Один из парней что-то сказал, и девочка рядом с ним вдруг рассмеялась.

Смех был короткий, слишком громкий для этого утра. Неровный. Почти некрасивый.

Остальные тут же обернулись на неё.

Не испуганно. Скорее автоматически. Как люди оборачиваются на резкий звук, прежде чем успевают понять, что произошло.

Девочка тоже поняла. Прикрыла рот ладонью и уже через секунду улыбалась иначе — тише, мягче, аккуратнее. Парень, который её рассмешил, наклонил голову, что-то сказал почти беззвучно. Она кивнула.

Они пошли через дорогу.

Я смотрел им вслед.

Хорошая саморегуляция, отметил машинально.

Я должен был запомнить это как пример успеха. Но почему-то запомнил первый смех. Именно тот неровный, сорвавшийся звук, который на секунду разрезал утреннюю гладкость.

И тогда — без предупреждения, без триггера, без видимой причины — из памяти всплыло воспоминание.

Не картинкой. Не голосом.

Вихрем ощущений, которые ударили одновременно, как удар под дых.

Жара. Пыльная грунтовка за домом бабушки. Мои босые ноги, сбитые о камни, которые я перестал замечать после первого часа беготни. Дикий крик: «Па-а-ас!» Мяч летит в крапиву, и хохот — настоящий, до слёз, до боли в животе, до того, что приходится хвататься за колени, чтобы не упасть. Только тут я чувствую, что моё колено разбито, хотя не помню, когда успел упасть. Смахиваю пальцем кровь, слизываю её — сладковатую, тёплую — и снова бегу, потому что можно, потому что мир огромный, и ты в нём живой.

Я моргнул, прогоняя наваждение.

Ладонь машинально легла на колено — туда, где когда-то давно была содрана кожа и остался шрам, который я потом прятал под длинными штанами, потому что он казался мне некрасивым. Шрам удалили ещё в университете: обычная дермокоррекция, ничего особенного. Под тканью костюма кожа была гладкой.

Ни шрама.

Ни памяти.

Прошло, — мелькнула мысль. И я сам не понял, о чём она: о разбитом колене или о том мире, где можно было упасть и вскочить со смехом, не думая о том, как это повлияет на твой индекс гармонии.

Остановка электробуса находилась перед стеклянным павильоном, защищённым от ветра и шума. Внутри уже ждали пассажиры. Никто не толпился у края платформы: система визуальной разметки мягко распределяла людей по зонам посадки. На прозрачной стенке шла муниципальная заставка.

«*MINERVA.*

Помогает городу быть спокойнее».

Хороший слоган.

Не слишком агрессивный. Не обещает счастья — это было бы ошибкой. Не говорит «контроль» — люди не любят это слово, даже когда сами требуют безопасности. «Помогает быть спокойнее» — точно, мягко, почти заботливо.

Я смотрел на эту фразу и пытался понять, почему она кажется мне слегка неправильной.

Не ложной.

Нет.

Просто чуть-чуть не попадающей в то, что я сейчас чувствовал.

Коммуникатор снова завибрировал:

«*Через 3:30 — презентация для Ван дер Мейрен.*

Рекомендуется повторить ключевые тезисы презентации».

Я закрыл уведомление.

Всё будет отлично, сказал я себе.

Фраза прозвучала пусто. Как «оптимальная влажность». Как слишком хорошо выверенный ответ на вопрос, которого никто не задавал.

Электробус подошёл без задержки.

Двери открылись, пассажиры вышли, новые вошли. Всё заняло меньше двадцати секунд. Я занял место у окна.

Город плыл за тонированным стеклом.

Сначала — пилотный район: отлаженный, бесшумный механизм, в котором каждая деталь была на своём месте. Потом, дальше по маршруту, снова проступали неровности недо-ремонтированных фасадов.

Я знал, что без MINERVA таких районов было бы больше.

Я знал, что пилотная зона спасла город от новых вспышек.

Я знал цифры. Сам проверял методики, спорил с аудиторами.

И всё равно на одно короткое мгновение меня охватила тоска.

Не по дому.

Не по Анне.

И даже не по Лукасу.

По той комнате, где я мог закрыть дверь и издать звук. Тот, который не нужно было никому объяснять, который не требовал одобрения, который просто был — как доказательство того, что я ещё жив.

Глава 3. Презентация

Воздух внутри штаб-квартиры «Инклюзив-360» был другим. Я почувствовал это сразу, как только вошёл в здание. Запах полимера дорогой мебели, едва различимая нота ароматизатора «Уверенность-Плюс» — того самого, что реклама советовала распылять перед переговорами высокого уровня, и что-то ещё, неуловимое, как память о натуральной коже, которую в ЕС запретили несколько лет назад. Производители синтетики научились подделывать не только текстуру, но и запах привилегированного прошлого. Получалось даже лучше оригинала: без случайных примесей жизни, только чистая, одобренная комиссией по этике сенсорных впечатлений нота «успеха».

Я прошёл через холл, где биолюминесцентный мох на стенах мягко мерцал лавандовым — сегодня офисная нейросеть выбрала этот цвет для «благоприятной атмосферы», не спрашивая никого из сотрудников. Никто не спорил. Никто даже не замечал. Мох просто менял оттенок, как меняется погода за окном, которую никто уже не проверяет, потому что прогноз всегда точен.

Рядом с залом, где должна была пройти презентация, в небольшой технической комнате команда уже расставляла терминалы. Провода скрывались в полу, исчезали в кабель-каналах, которые были частью дизайна: мир должен был выглядеть магией, а не работой. Инженеры в одинаковых тёмных футболках двигались бесшумно, проверяя соединения, калибруя проекторы, синхронизируя голографические панели.

Я встал у бокового терминала, достал планшет и по привычке пролистал презентацию ещё раз. Руки работали быстрее мыслей: проверить шрифты, проверить графики, проверить последовательность. Все было идеально, выверено до запятой. Я с удовлетворением закрыл планшет и вернулся в зал.

...

Презентация началась. В центре зала, в креслах с эргономичной поддержкой поясницы, сидела министр социальной гармонии и инклюзивного развития Ван дер Мейрен.

Я видел её раньше — на экранах, в новостных лентах, в официальных трансляциях, где она всегда выглядела безупречно: причёска, костюм, улыбка, каждое слово выверено до миллиметра. Вживую она казалась меньше и одновременно плотнее, словно её тело было сжато высоким давлением — давлением власти, ответственности, постоянного присутствия в кадре. Куратор госпрограммы «Новая этическая парадигма». Именно её министерство три года назад объявило конкурс на разработку системы мониторинга социального климата: пятьсот страниц технического задания, где понятие «справедливость» было разобрано на коэффициенты и юридические нормы.

Моя MINERVA оказалась самым элегантным решением их уравнения.

Я мельком взглянул на министра, пока шёл к своему месту. В её глазах было то, что я видел в глазах заказчиков всю свою карьеру: спокойная уверенность экзаменатора. Она не ждала откровений — она проверяла, соответствует ли готовый продукт заказанным спецификациям.

Команда уже заняла места у терминалов. Бледные лица, напряжённые плечи — обычное состояние айтишников, выходящих из уютного сумрака серверных в мир людей, принимающих решения. Они контролировали работоспособность оборудования, избегая смотреть в центр зала, где сидела министр и её свита. Все знали сценарий: показать, одобрить, запустить. Отклонений не предусмотрено.

Недалеко от меня, вполоборота к залу, стоял мой заместитель Александр Сиддики.

Костюм сидел на Алексе так, словно вырос из тела, — не сшит, а выращен специально для него. Модно-взъерошенная стрижка, смуглая кожа, тонкая талия. На запястье — татуировка «Equity», выполненная шрифтом на грани между типографикой и граффити, которая выглядела и как заявление, и как украшение. Он улыбался. Но это была не улыбка подчинённого. Это была улыбка партнёра по представлению, который знает свою роль — и знает, что его роль важнее.

Я ощутил укол под ложечкой. Не ревность — что-то холоднее. Предчувствие. Я попытался отогнать его, но оно осталось — холодным пятном где-то под рёбрами. Тогда я заставил себя сосредоточиться и включил презентацию.

На экране загорелась схема: элегантная паутина узлов и связей, похожая на нервную систему огромного организма. Я провёл рукой по сенсорной панели. Над ней возникла голографическая карта Брюсселя — потоки света сходились и расходились в узлах с цифрами. Красиво. Гипнотически красиво. Как живой организм, который дышит, пульсирует, живёт своей жизнью.

— Наш алгоритм превращает абстрактную «справедливость» в измеримый показатель.

Мой голос звучал спокойно — инструкцией по применению. Я знал эти слова наизусть, они были отрепетированы до автоматизма, но сегодня они казались мне чужими, будто их произносил кто-то другой, а я только слушал.

Девушка из свиты министра — радужные пряди в тщательно уложенных волосах, блестящий кулон на шее, который на самом деле был микрофоном, — уже вела прямой эфир, прижимая его к губам:

— ...видите этот исторический момент? Министр лично оценивает прорыв, который изменит социальный ландшафт...

Рядом молодой человек с дизайнерской бородкой делал сторис, накладывая на экран заготовленные хэштеги:

#MINERVA

#НоваяЭтика

#БудущееУжеЗдесь

Они не слушали — упаковывали. Звук — в контент. Мысль — в хэштег. Три года моей работы — в пятнадцатисекундный ролик, который они выложат в свои ленты, и через час никто уже не вспомнит, что там было на самом деле. Только картинка. Только эмоция. Только индекс.

— В реальном времени система отслеживает социальные взаимодействия по двумстам параметрам, — продолжал я, стараясь не смотреть на свиту. — И выдаёт интегральную оценку соответствия принципам, которые мы, как общество, сочли безусловными.

Я перелистнул слайд.

— Результат — динамичный индивидуальный индекс гармонии. Пилотная эксплуатация показала снижение конфликтности на шестьдесят три процента.

Министр кивнула. Лицо — бесстрастное, как у статуи. Ни одобрения, ни сомнения. Только ожидание следующего факта.

— В статистику включены обращения в службы медиации? — спросила она.

— Да. И агрегированный эмоциональный анализ публикаций в соцсетях.

Тут вперёд мягким шагом выдвинулся Алекс. Я заметил, как он сделал это — не резко, не напористо, а именно мягко, как будто его вынесло вперёд течением.

— Если позволите, госпожа министр.

Его голос был тише, чем мой. Но в нём была нота, которой у меня не было: тепло. Личное, интимное. Он говорил не с министром — он говорил с человеком, который мог понять.

— Наша семья — выходцы из Пакистана. Моя сестра живёт в одном из пилотных районов. Раньше её дети... боялись ходить в школу.

Микропауза — достаточная, чтобы в воздухе повисло неозвученное: насмешки, травля, атмосфера нетерпимости, от которой невозможно спрятаться.

— Теперь — нет. MINERVA дала им не просто безопасность. Она дала ощущение принадлежности.

Министр впервые отвела взгляд от экрана. Посмотрела на Алекса. В её глазах мелькнуло что-то, что я не мог определить сразу: может быть, интерес. Может быть, узнавание.

— Это чрезвычайно ценно, — произнесла она. — Когда технология находит отражение в реальных жизнях. Особенно тех, кого традиционные структуры десятилетиями игнорировали.

Она сделала паузу — небольшую, но значимую. Перевела взгляд с Алекса на зал, как будто проверяла, все ли услышали.

— Должна отметить: на этом пути мы достигли исторического консенсуса. После долгой работы с аккредитованными религиозными сообществами мы пришли к единому пониманию. Их опыт работы с нарративами страдания и исцеления станет частью обучающих модулей MINERVA.

Где-то на задворках моего сознания мелькнула комичная картина: седовласый кардинал, склонившийся над графиками эмпатии. Имам, калибрующий коэффициенты милосердия. Раввин, обсуждающий алгоритмы прощения. Я прогнал её — но неприятный осадок остался. Они не просто одобрили систему. Они освятили её. Сделали её частью морального порядка, а не просто техническим решением.

— Таким образом, — продолжала министр, и голос её стал чуть громче, увереннее, — программа получает не только техническую, но и глубокую гуманитарную легитимацию.

Её тон был уверенным — констатация свершившегося факта. Информация доведена не для обсуждения, а для фиксации: религиозный вопрос закрыт, сопротивление преодолено, институты — с нами.

Затем её взгляд вернулся ко мне, и вся теплота — если она вообще была — испарилась.

— Продолжайте, господин Мюллер. Меня интересуют механизмы калибровки алгоритмов в мультикультурной среде.

Я попытался вернуть инициативу. Слайды. Кейсы. Диаграммы роста. Язык, который я знал лучше родного. Но каждый раз, когда я делал паузу, чтобы перевести дыхание или дать аудитории осмыслить цифры, Алекс вставлял реплику. Короткую. Отточенную. Не о статистике — о «социальном балансе». Об «историческом возмещении». Он переводил мой сухой язык данных на язык эмоций и моральных категорий. И я видел, как министр слушает его с большим вниманием, чем меня.

Последний слайд погас.

Я замолк. Моё лицо застыло в заученной профессиональной улыбке, которая держалась на мышцах, давно забывших, как расслабляться. В зале повисла секундная тишина — та самая, которая решает, провал это или триумф.

Министр сдержанно похлопала в ладоши. Свита подхватила, как эхо.

— Благодарю за презентацию, — её взгляд скользнул мимо меня, будто я уже был частью мебели. — Особенно ценны живые примеры. Они... резонируют.

Она повернулась к директору. Понижила голос — но так, чтобы я услышал каждое слово, как будто это было частью представления:

— Для публичных кампаний лучше использовать Александра. Его типаж обладает большей... ликвидностью.

Директор улыбнулся — той улыбкой, которой улыбаются, когда всё идёт по плану:

— Уже планируем. Он отлично вписывается в стратегию.

Ликвидность, — повторил я про себя. Слово ударило меня, как пощёчина. Меня оценили в терминах биржевого актива — и признали неликвидным. Меня, который создал эту систему, который провёл три года в лабораториях и ночных сменах, который оставил семью ради того, чтобы алгоритмы работали безупречно.

Зал опустел. Министр ушла со свитой, оставив за собой лёгкий шлейф дорогих духов и власти. Я смотрел, как техники начали упаковывать оборудование — проекторы, планшеты, сенсорные панели.

Команда разошлась, обсуждая детали завершившейся презентации.

Вскоре в зал вернулся директор. Сияющий, как человек, который только что закрыл сделку года.

— Поздравляю! — он похлопал меня по плечу, но смотрел сквозь меня, в светлое будущее госконтрактов. — Министр дала добро. Со следующего месяца — полномасштабный запуск.

Он повернулся и ушёл, уже говоря с кем-то по коммуникатору о бюджете и сроках, о том, как быстро масштабировать систему на другие города.

В зале остались мы с Алексом. Он стоял у экрана, где зависла последняя инфографика: красивая, бесстрастная, как музейный экспонат. Смотрел на неё с тем же выражением, с каким смотрят на картину, которую видели сотню раз, но каждый раз находят в ней что-то новое.

— Теперь она станет нормой, — произнёс Алекс задумчиво. — Средой. Воздухом, которым все дышат.

Повернулся ко мне. В его глазах промелькнуло холодное любопытство.

— Томас, ты готов к тому, что она будет оценивать всех? — спросил он тихо. — Без исключений?

Я не ответил.

Смотрел, как гаснут экраны — один за другим. Как исчезает всё, что только что служило трибуной для моего триумфа.

Глава 4. Ужин

Дом встретил меня запахом томатного супа с базиликом — моего любимого. Анна увидела по семейной карте, что я уже подхожу, и вскрыла контейнеры заранее. Сегодня был мой день.

Я снял пиджак и прошёл на кухню.

На столе стояли три контейнера-тарелки. Красный суп, зелёные листья базилика — замороженные и восстановленные, почти как настоящие. Тонкий пар над тарелками поднимался вверх и исчезал в тёплом воздухе.

Анна стояла у блока утилизации и по очереди скармливала ему крышки от контейнеров. Матовый био-пластик мягко исчезал внутри с тихим ворчанием.

Лукас сидел за столом и рисовал. Он так сосредоточился, что высунул язык — и не замечал, что тот уже испачкан фиолетовым фломастером.

Я остановился в дверях.

Несколько секунд просто смотрел.

— Привет, пап, — сказал Лукас, не поднимая головы.

— Привет, малыш.

Анна не обернулась.

— Ты рано сегодня, — сказала она.

— Пробок нет, когда половина города работает из дома.

Она поставила перед Лукасом контейнер.

— Осторожно, горячо. Подуй сначала.

— Хорошо.

Он дунул в суп с такой серьёзностью, будто это было важное дело. Капли разлетелись по столу, но Анна даже не поморщилась. Она лишь покачала головой, потом взяла салфетку и промокнула их. Привычным движением выкинула салфетку в утилизатор.

Наконец она повернулась ко мне. На секунду её взгляд задержался на моём лице — будто проверяла, с каким выражением я пришёл. Раньше она не проверяла. Раньше просто радовалась.

— Ну как? — спросила она. — Министр довольна?

— Всё прошло нормально. Финальную версию приняли.

— Дорогой, я из новостей узнаю больше, — она кивнула в сторону телевизора, работавшего без звука. — Там «исторический день». И твой Алекс — крупным планом.

Я посмотрел на экран. Алекс стоял рядом с министром, улыбался в камеру. Выглядел так, будто всегда был частью этой картинки.

— Алекс удачно вставил историю про сестру. Но это не важно. Главное — запуск одобрили.

Анна прибавила громкость.

— ...важный шаг в развитии политики данных, — говорил ведущий.

Затем картинка сменилась комментатором: Элио Штерн, автор нашумевшего манифеста «Данные для 99%». Он говорил спокойно, будто объяснял что-то очевидное.

— Приватность — это не право прятаться. Это право понимать, как твоя история помогает обществу становиться справедливее. Алгоритмическая справедливость — это не слежка. Это прозрачный и корректируемый взгляд общества на самого себя.

Лукас поднял голову.

— Мам.

— Мм?

— А что такое приватность?

Анна на секунду задумалась. Слово было слишком взрослым.

— Это когда у тебя есть место, где можно быть собой, — сказала она. — И никто туда не лезет без спроса.

— Как моя комната?

— Как твоя комната.

Лукас кивнул, будто всё понял, и снова уткнулся в рисунок. Но я видел, как его рука на мгновение замерла над листом — как будто он хотел спросить что-то ещё, но не решился.

Я протянул руку и выключил телевизор.

— Это просто объяснения, — сказал я. — Для людей. Чтобы понимали, для чего всё это.

Анна усмехнулась.

— Да ладно. Чтобы сами просили.

В висках у меня застучало.

— Я устал, Анна.

Я сел. Стул мягко подстроился под мой вес.

— Это был важный день.

Анна опёрлась ладонями о столешницу. Её пальцы побелели от напряжения — единственное, что выдавало внутреннее движение. Всё остальное было гладким, как её голос.

— У нас тоже был важный день, Томас.

Я поднял глаза.

— В школе Лукаса уволили мисс Элен.

Имя резануло. Мисс Элен — учительница рисования. Та самая, после уроков которой Лукас приходил домой с горящими глазами и пальцами в краске.

— Не может быть. За что?

— Слишком много внимания старым художникам, — сказала она и выдержала паузу. — Твоя система выдала рекомендацию её «откорректировать».

От этих слов молоточки в висках застучали сильнее.

Анна взяла планшет и показала сухое уведомление из школьной системы. Три строки.

«Рекомендация MINERVA: корректировка педагогического состава.

Причина: культурный эгоцентризм. Превышение допустимого процента “исторически доминирующих” художников в учебном материале.

Мера: расторжение контракта».

Я прочитал и пожал плечами — автоматический жест, который должен был показать, что я контролирую ситуацию. Но я не контролировал ничего.

— Любимая... Я же не отдавал команду увольнять конкретного человека. Это рекомендация. Решение принимает школа.

— Школа её и приняла.

— Она давала нам рисовать динозавров, — сказал вдруг Лукас, не поднимая глаз. — Даже если тема была другая.

Анна посмотрела на сына. Потом снова на меня.

— Она показывала детям Брейгеля и Босха. — Это теперь считается перекосом.

— Система не идеальна. Но...

Анна усмехнулась — без злости, скорее устало. Так усмеваются, когда давно перестали ждать другого ответа.

— Но ты в неё веришь. Да-да, я знаю. Ты всегда верил в системы, которые «спасают». Зелёная экономика. Миграционные квоты. Цифровая демократия. И вот теперь — это.

Она взяла планшет и открыла другой файл.

— Смотри.

Экран развернулся ко мне. Квартал. Чистая геометрия зданий. Идеальные прямые линии.

— Проект бюро, — сказала она. — «Образцово гармоничная среда».

Она перелистнула. Появились старые брюссельские дома. Неровная штукатурка. Кривые балки. Окна разной высоты.

— А это теперь называется «архитектурной иерархией прошлого».

Я почувствовал странное состояние. Как будто стержень, который долгие годы держал мое тело, вдруг стал крошиться.

— Мир меняется, — тихо сказал я, пытаюсь закончить неприятный разговор, на который почти не осталось сил.

— Ты говоришь так, будто это не про нас.

Запах базилика смешался с чем-то резким. Я вдохнул — и вдруг в лёгких оказался февральский воздух площади Люксембург 2017-го года.

Я — третьекурсник факультета компьютерных наук. Мой хриплый голос, сорванный лозунгами. Вокруг — толпа таких же: раскрасневшихся от холода и пива, уверенных в собственной правоте. В руках — самодельные плакаты «Спасём климат сейчас!», которые поднимаются сплошной стеной.

И тут я увидел её.

Она шла по тротуару — напротив скандирующей толпы, будто по другую сторону стекла. Девушка лет семнадцати, в чёрном пальто до колен. С плеча свисала полурасстёгнутая плоская сумка с логотипом архитектурной школы La Cambre; из неё торчали углы ватмана.

Меня к ней потянуло. Я передал свой плакат другу, перелез через ограждение и бросился следом.

— Эй! Архитектор будущего! Куда идёшь? Планета гибнет!

Девушка обернулась. Серые глаза оценивающе прошлись по мне.

— Будущее, — отрезала она, хлопнув ладонью по сумке, — здесь. А вы тут в прошлом орёте.

И пошла дальше.

Я догнал, перегородил дорогу.

— Меня зовут Томас. А тебя?

Вздых. Понимание, что от этого идиота не отделаться.

— Анна Смирнова. Учусь на архитектора.

— Русская? — вопрос вырвался сам, бездумно, как у любого, кто никогда не думал о том, что слова могут ранить.

— Да, и что? — ответила она с вызовом. В этом вызове была усталость от того, что её происхождение всегда было либо поводом для вопросов, либо для оправданий.

Я засмутился. Чтобы перебить неловкость, спросил о первом, что бросилось мне в глаза:

— А почему у дома такой изогнутый фасад?

Я ткнул пальцем в угол чертежа, торчащий из сумки. И тогда — впервые — её лицо ожило. В глазах вспыхнул огонь.

— Потому что жизнь — не сетка AutoCAD, — сказала она. — Потому что в природе нет ни одной прямой линии.

Позже, на третьем свидании, Анна призналась: она запомнила тот момент иначе. Назойливый пьяный парень, из-за которого она опоздала и получила тройку за «буржуазный изгиб стены».

Но потом, когда я неделю караулил её у входа в общежитие с остывающим кофе, она приняла моё упрямство за потребность вырваться из клетки собственных «правильных» схем.

Она ошиблась. Или я позволил ей в это поверить.

Звук ложки о контейнер вернул меня на кухню. Анна сидела напротив. Смотрела на меня — не спрашивая, о чём я задумался.

— Пап.

Лукас стоял рядом. Он всегда подходил неслышно — я замечал это всё чаще.

— Смотри.

Он протянул мне лист. На нём был нарисован человек с закрытыми глазами и широко открытым ртом. Из головы, словно взрыв цвета, расходились неровные, живые волны.

Внизу корявыми буквами: «Папа поёт».

Я посмотрел на рисунок.

— Красиво, — слово прозвучало слишком тихо.

— Это ты, когда поёшь свою песню, — Лукас показал пальцем на рисунок, пританцовывая на месте от переизбытка чувств.

Анна тоскливо посмотрела на меня.

— Настоящий ты — там. Когда не пытаешься быть удобным.

Я поднял глаза на сына и увидел открытый, доверчивый взгляд, который ждал одобрения. И во мне поднялось что-то горькое, как желчь.

— Настоящий?

Слово прозвучало странно. И я сам услышал в своём голосе кривую усмешку.

Этого оказалось достаточно.

Улыбка Лукаса погасла. Он осторожно забрал лист обратно.

— Я просто показал...

— Извини, — ответил я.

Я вдруг понял, что не знаю, кому именно говорю это слово. Сыну? Жене? Себе?
Я поднялся.

— Мне нужно... немного тишины.

И вышел.

На кухне остались три тарелки с остывающим супом.

Тёплый свет.

И аккуратный порядок, который дом поддерживал с безупречной заботой.

В коридоре я остановился на секунду и услышал, как Анна тихо говорит Лукасу:

— Всё хорошо, милый. Просто папа... устал.

Я закрыл глаза. И понял, что всё, о чём сегодня говорили по телевизору, уже давно не на экране. Оно здесь. В школе моего сына. В работе моей жены. В моём собственном доме. В моей голове.

Свет в коридоре плавно приглушился. Колонка мягко предложила: «Протокол вечернего снижения нагрузки. Включить?»

Я не ответил. Просто выдохнул — длинно, с присвистом, как спускает воздух проколотая шина. И этот выдох повис в стерильном воздухе — тяжёлый, неровный, человеческий.

Глава 5. Оттепель

Утро субботы застало меня за составлением плана. На обороте квитанции нервными, рванными буквами я написал:

Аттракционы.

Вафли.

Прогулка у каналов.

Кафе «Белый лист».

Я вглядывался в эти слова, как в шифр, пытаюсь извлечь из них формулу спасения. Вчерашний ужин висел между нами тяжёлым, невысказанным упрёком. Я не умел извиняться по-человечески. Я умел чинить системы: поменять параметр, отредактировать строку кода, вернуть график в норму. А здесь график был живой.

На кухне всё было как обычно: холодильник подсовывал «подходящий» завтрак, колонка шептала фон. Анна допивала свой смузи, Лукас ковырялся ложкой в запеканке.

Я сложил квитанцию и спрятал в карман.

— Погуляем сегодня? — спросил, стараясь, чтобы голос звучал легко. — Как раньше? Солнечно же.

Анна подняла глаза. В них не было вчерашнего льда — но и тепла ещё не было. Лишь осторожность человека, который уже обжёгся.

Она не ответила мне напрямую — это было бы обещанием, а обещания стали дорогими.

— Лукас, хочешь? — перевела вопрос на сына.

— Да! — Лукас оживился мгновенно, отложив ложку. — На каруселях!

Анна кивнула коротко, и это «кивнула» было не согласием. Скорее, разрешением попробовать ещё раз.

Мы вышли на улицу.

Сентябрьское солнце лилось на брусчатку тёплым, осязаемым слоем, и я вдруг поймал странное ощущение: словно кто-то выкрутил насыщенность мира чуть выше, чем обычно. Камень на площади казался тёплым, витрины — чистыми, как вода, и в воздухе смешивалось всё то, что в будни существовало отдельно: кофе из угловой лавки, апельсиновая корка и ваниль из кондитерской, влажная листва и далёкий дымок — настоящий, из какого-то старого дома, который ещё не снесли и не перепрошили.

Я шёл и ловил себя на том, что хочу смеяться без причины. Я почти слышал собственный смех заранее. Это было странно. И приятно.

Первый порыв ветра на площади подхватил шарфик Анны. Она неловко поймала его, ругнулась вполголоса — и вдруг улыбнулась. На секунду лицо её стало тем самым, прежним: живым, непокорным, немного дерзким.

— Смотри, пап, — Лукас потянул нас к набережной. — Там!

Сезонный парк аттракционов гремел весёлой музыкой, привлекая праздных прохожих.

Лукас тянул нас к «Ракете». Мы втиснулись в узкую кабинку плечом к плечу, коленка к коленке. Анна сначала села чуть дальше, оставляя между нами ту тонкую дистанцию, которая накопилась за месяцы. Но на первом же повороте её качнуло, и она неловко упала на меня.

Я инстинктивно обнял её за плечи, чтобы удержать.

Анна не отстранилась.

Несколько секунд так и сидела, прижавшись к моей груди. Волосы пахли «свежестью», но сквозь неё пробивалась едва уловимая, тёплая нота её тела.

Мир за стеклом кружился и смазывался в разноцветный водоворот. Я засмеялся — громко, не сдерживая себя. Лукас завизжал от восторга. Анна не выдержала и тоже засмеялась.

Потом мы подошли к уличному лотку и купили вафли.

Настоящие, бельгийские, горячие, с горкой сливок и клубникой. Сироп стекал липкими дорожками по картонной тарелке. Лукас пачкал щёки и нос, и Анна вытирала ему лицо салфеткой, ворча с притворной строгостью:

— Весь в сиропе, как маленький.

— Я не маленький, — возмутился Лукас, но губы у него были в сахаре, и возмущение звучало смешно.

Мы шли вдоль каналов и смотрели на свинцовую воду, в которой отражались старые дома с узкими фасадами, похожие на колоду карт, поставленную на ребро. В воде они казались опрокинутыми вверх тормашками: тяжёлые карнизы уходят в глубину, окна тянутся к невидимому дну. В этих отражённых окнах — ни огня, ни жизни. Только серая гладь.

Анна вдруг начала рассказывать Лукасу про старые зернохранилища, про модерн, про то, как раньше здесь разгружали баржи. Голос её оживал, в нём появлялись те самые ноты увлечённости, которые я не слышал, кажется, целую вечность. Говорила быстро, руками, как всегда, когда ей было интересно, и Лукас слушал, широко раскрыв глаза.

Я смотрел на её профиль в косом солнце, и в груди что-то больно сжалось. Я взял её руку. Нежно, почти несмело, словно прося разрешения.

Пальцы Анны на миг замерли. Потом ответили. Сжали мою ладонь.

Как раньше, — подумал я, и от этой мысли стало светло и страшно.

— Помнишь, тут рядом кафе было? «Белый лист». Там фото старые висели.

— Закрылось, наверное... А давай проверим, — в голосе Анны мелькнул тот самый вызов, знакомый мне ещё с площади Люксембург.

Мы нашли кафе быстро.

Название на вывеске осталось прежним, выведенное тем же шрифтом, что я помнил с университетских времён. Старые фотографии исчезли. Но столик у окна — тот же. Или просто очень похожий. Я поймал себя на том, что хочу верить именно в «тот же».

Лукас, утомлённый восторгами, заказал клубничный молочный коктейль и углубился в его изучение, как в научный эксперимент. Соломинку держал серьёзно, обеими руками.

Анна откинулась на спинку стула. На лице её появилось выражение покоя. Посмотрела на меня, и в её взгляде больше не было стены.

Я вдруг смутился установившейся тишины. Слишком привык, что между нами должен быть звук — спор, оправдание, новости, планы. Без звука я не знал, как держаться.

— Вкусно? — спросил я Лукаса чуть громче, чем надо.

— Угу, — кивнул сын, не отрываясь от соломинки.

Анна чуть улыбнулась — не мне, а нашей общей нелепости.

— Спасибо, — произнесла она тихо. — За сегодня. Было... хорошо.
Два слова. «Спасибо». «Хорошо».
Я кивнул в ответ, не доверяя голосу.
В кармане куртки шуршала квитанция со списком. Мой амулет на сегодня.
Лукас, уткнувшись в коктейль, что-то бормотал себе под нос, сочиняя, наверное, историю про динозавра и клубнику.
Я поймал взгляд Анны. Она улыбалась.
Улыбнулся тоже и понял: план — не бумага в кармане. План — это молчание, которое больше не нужно заполнять.

Глава 6. Возвратные заморозки

Мы просидели в «Белом листе» ещё минут двадцать. Лукас допивал коктейль, Анна смотрела в окно.

И именно тогда я заметил их.

Семья у стены. Молодые родители и мальчик чуть младше Лукаса. На запястьях — одинаковые силиконовые браслеты жителей пилотных зон. Индикаторы светились жёлтым.

Я разглядел цифры.

4.2 у отца.

4.1 у матери.

4.3 у мальчика.

Они не разговаривали. Мать быстро, почти судорожно набирала что-то в телефоне. Отец сидел, откинувшись на спинку стула, и смотрел в одну точку на безупречно чистом столе.

Между ними сидел сын.

Не болтал ногами и не трогал стакан. Сосредоточенно разрезал веганскую сосиску на ровные кусочки.

Сидящие за соседним столиком вдруг вспомнили, что им нужно ближе к розетке, и начали суетливо собираться. Официант поставил чашку с чаем, не задержав руки ни на секунду, и сделал маленький шаг назад, будто боялся задеть чужой воздух. Пожилая пара у стойки качнула головами и отвернулась с демонстративной аккуратностью, продолжая есть.

Лукас перестал пить коктейль и уставился на мальчика у стены. Тот поднял голову и встретился с ним взглядом. В его глазах не было ни интереса, ни вопроса. Только скука. Недетская, ровная, как серый свет.

Лукас быстро отвёл глаза.

Анна переводила взгляд с одного члена семьи на другого. Я попытался отвлечь её, что-то сказать — но слова не находились.

И тут над стойкой погасла реклама. Появилась заставка экстренного выпуска новостей. На большом экране — лицо министра Ван дер Мейрен.

Её голос был мягким, уверенным, откалиброванным до идеальной убедительности.

— ...подводя итоги успешного пилотного внедрения, объявляю: со следующей недели начинается расширение системы социального доверия MINERVA на весь Брюссельский столичный регион.

Голос продолжал перечислять: справедливость, гармония, поддержка. Я не слушал. Смысл свернулся в одну фразу:

Со следующей недели.

В кафе наступила тишина. Замерли ложки. Застыли чашки у губ. Люди смотрели на экран не с радостью и не с ужасом — с пониманием. Словно им сообщили не политическую новость, а бытовой факт — вроде отключения воды.

Взгляд отца семейства прошёлся по залу — по лицам, которые минуту назад демонстративно отсели, отвернулись, отступили. По людям, которые делали вид, что не видят жёлтые браслеты и цифры.

По его лицу пошла улыбка. Не злорадная. Скорее — признательная. Будто стена, отделявшая их от остальных, наконец рухнула.

Он поднял чашку чая и кивнул залу, почти изычно — как тост.

— Ну что, — сказал негромко, но так, что было слышно каждое слово. — Добро пожаловать в клуб, соседи.

Отпил глоток и поставил чашку на стол. Спокойно встал. Взял сына за руку. Мать поднялась автоматически, всё ещё не отрываясь от телефона.

И они пошли к выходу — как люди, которые просто раньше узнали то, что остальные узнают на следующей неделе.

Дверь закрылась за ними с тихим шипением.

Тишина держалась ещё несколько секунд. Потом зал ожил: кто-то кашлянул, кто-то засмеялся невпопад, кто-то заспешил расплачиваться. Все торопились вернуть себе ощущение, что ничего не произошло.

— Он прав, — задумчиво сказала Анна.

Я не сразу понял, о ком она говорит.

— Ты знал, что это будет так выглядеть?

Лукас сидел неподвижно. Держал стакан двумя руками, как спасательный круг, и не пил. Мы вышли из кафе.

Снаружи всё было прежним: солнце, брусчатка, запах ванили из соседней лавки. Но внутри всё уже было другим.

Лукас шагал между нами чуть позади. Я ловил его быстрые настороженные взгляды и видел: сын не спрашивает, но запоминает. Браслеты. Цифры. Тишину. Улыбку. Тост.

У входа в квартиру Лукас остановился и посмотрел на меня снизу вверх.

— Пап... А у нас браслеты будут?

Я хотел сказать «нет». Но из горла вышло что-то невнятное и трусливое.

Лукас спрятал руки за спину. Анна положила ему ладонь на плечо.

— Иди, — подтолкнула она его мягко в направлении комнаты. — Переоденься.

Лукас ушёл.

Анна осталась в коридоре и не смотрела на меня. Смотрела куда-то вниз — на ровную линию плинтуса, словно там можно было найти опору.

— Мы сегодня почти поверили, — произнесла она наконец. — Почти.

Я промолчал.

Дверь спальни закрылась. В моём кармане всё ещё лежала квитанция. Но список больше не был заклинанием. Он стал просто бумагой.

Глава 7. Весы Минервы

Понедельник начался обычно. Я пришёл в офис, сел за терминал. Передо мной был код, который я сам написал, — но буквы и цифры расплывались, складывались в бессмысленные узоры. Я перечитывал одну строку по пять раз, и каждый раз смысл ускользал, как вода сквозь пальцы.

К обеду массовая оценка персонала завершилась.

Табло повесили в опенспейсе на месте мотивационного плаката. Там, где раньше красовался корпоративный девиз:

«Мы заменим лицемерную мораль на неподкупные данные. Свобода начинается с прозрачности».

Теперь девиз убрали. Появилась таблица: имена, цифры, цвета.

Зелёные: 7.1, 8.2, 6.9 — маленькие победы, отлитые в десятичные дроби.

Жёлтые: 5.0, 4.8 — предупреждения. Вы в зоне риска. Скорректируйте траекторию.

И мой — 3.7.

Алый. Единственный алый на всём экране. Гнойник на теле здорового коллектива.

Я стоял перед табло, и цифра пульсировала в такт сердцу. Три-семь. Три-семь. Три-семь. Она вжималась в сознание с каждым ударом, как заклёпка, которую забивают молотком.

Коллеги проходили мимо.

Раньше здоровались — кивком, полуулыбкой, иногда парой слов о погоде или вчерашнем матче. Теперь их взгляды скользили по табло, находили моё имя, фиксировали показатель — и тут же уходили от меня в сторону, как от больного. Лишь бы не заразиться. Лишь бы не ассоциироваться с ним, не попасть в одну выборку.

Марта из отдела аналитики — та самая, что два года назад принесла домашний пирог, когда я неделю не выходил из офиса, допиливая ядро системы, — теперь обходила мой стол по широкой дуге. Её балл был 6.4. Не блестяще, но безопасно. Достаточно, чтобы не рисковать. Она смотрела сквозь меня, будто меня уже не было в комнате.

Йохан, с которым мы вместе начинали проект, с которым пили пиво после первого успешного теста, — теперь сидел на другом конце опенспейса. Его индекс — 7.8. В мою сторону он не смотрел вообще. Я видел только его спину, ссутуленные плечи, быстрые пальцы на клавиатуре. Он работал так, будто боялся остановиться — словно остановка могла стоить ему цифры.

Социальная гравитация, — вспомнил я термин из собственной документации.

Планёрки вёл Алекс.

Я сидел в углу — формально ещё в команде, фактически уже за её пределами. Алекс говорил о «следующей фазе внедрения», о «расширении охвата», о «синергии с образовательным сектором». Команда слушала, затаив дыхание. Их цифры на стене одобрительно подрагивали: система фиксировала вовлечённость, лояльность, корректные эмоциональные реакции.

Я смотрел на Алекса — на уверенные жесты, на то, как легко он переключается между техническим жаргоном и моральными призывами, — и думал: когда это случилось? Когда он перестал быть моим заместителем и стал моим заменителем?

Алекс поймал мой взгляд. На секунду в его глазах мелькнуло что-то похожее на сожаление. Или на скуку. Как у человека, который смотрит на сломанный механизм и думает: жаль, но пора выбросить.

Через неделю в рабочий чат мне пришло сообщение.

Без подписи. Без темы. Только время и место:

«13:00. Кабинет директора»

Я смотрел на экран. Сообщение не требовало ответа — оно было приказом, отлитым в форму приглашения.

Взглянул на часы. 09:47.

Три часа. Три часа до приговора.

Нет, поправил я себя. Приговор уже вынесен. Это просто оглашение.

Без пятнадцати час я встал из-за стола. Прошёл через опенспейс — мимо склонённых голов, мимо экранов с графиками, мимо табло с моей алой цифрой. Никто не поднял глаз.

Коридор к кабинету директора был длинным. Я шёл, и мне казалось, что стены понемногу раздвигаются, а путь растягивается.

А потом перегородки офиса растворились, и я оказался в тридцать пятом году. Тот же опенспейс, но заваленный картонными стаканчиками и коробками из-под пиццы с жирными пятнами. Красные глаза, небритые лица. Кто-то спит в углу, свернувшись на куртке, — его не будят. На стене — проектор: карта Брюсселя с подсвеченными районами. Андерлехт, Моленбек, Иксель. Таймер обратного отсчёта замер на нуле.

— Андерлехт! — крикнул кто-то из толпы, вбегая с планшетом. — Семьдесят два процента!

Опенспейс взорвался. Свист, крики; кто-то запустил бумажный самолётик — он описал дугу и ткнулся прямо в карту, в район Моленбека.

— Моленбек — пятьдесят шесть! — перекрывая шум, крикнул Алекс. Он стоял рядом со мной, в мятой футболке, под которой уже тогда угадывалась новая ширина плеч. — Там бабушки, им не цифры нужны — им чтобы по-человечески!

— Иксель! — заорал Йохан из дальнего угла. — Иксель — шестьдесят восемь!

Марта плакала, размазывая слёзы ладонью. Трое парней обнимались, чуть не свалив монитор. Кто-то уже открыл шампанское — пенистая струя ударила в потолок. Я стоял в центре этого хаоса и чувствовал, как внутри поднимается что-то похожее на счастье. Мы сделали это. Мы построили систему, которая изменит мир.

Из кабинета вышел директор.

Опенспейс затих мгновенно. Не от страха — от уважения. Директор умел появляться вовремя.

Он оглядел комнату: усталые, но горящие глаза сотрудников, карту с процентами, гору мусора. Кивнул, будто именно это и хотел увидеть.

— Коллеги, поздравляю! У нас есть три пилотных района для запуска первой версии MINERVA, — произнёс он громко. — Андерлехт, Моленбек, Иксель. Люди пришли на избирательные участки и нажали зелёную кнопку. Сами. Никто их не заставлял.

Аплодисменты смешались с криками и свистом.

— Они устали, — продолжил директор, перекрывая радостный шум. — Им нужен порядок. Им нужна прозрачность. Им нужно знать, что всё по-честному.

Он обвёл взглядом помещение. Остановился на мне, на Алексе, на девушке, которая всё ещё вытирала слёзы.

— Мы дадим им это!

Кто-то снова свистнул. Директор улыбнулся — широко, почти по-отечески.

— Празднуйте, вы это заслужили. Но напоминаю: завтра в девять планёрка. Опоздавших буду штрафовать улыбкой.

Все засмеялись. Директор подошёл ко мне, хлопнул по плечу:

— Хорошая работа.

Потом была сумасшедшая ночь: фейерверки на площади, пляски на столах, шампанское.

Пена ударила в потолок. Я моргнул. Стены снова стали серыми. Коридор кончился.

Я открыл дверь ровно в 13:00.

Кабинет директора был размером с половину опенспейса. Панорамное окно во всю стену. Город — с высоты тридцать второго этажа. Стол из матового стекла, почти пустой: только планшет и титановая ручка-стилус.

Директор сидел в кресле, разглядывая что-то на экране. Ручка постукивала по стеклу. Раз-два. Раз-два. Метроном, отсчитывающий чужое время.

Алекс стоял у стеллажа с наградами. В руках он держал хрустальную призму — «Прорыв года», нашу общую награду за первую версию MINERVA. Смотрел сквозь неё, наблюдая, как кабинет преломляется на гранях. Искажается. Распадается на спектр.

— Садись, — бросил директор, не поднимая глаз.

Я сел. Кресло было жёстким, неудобным. Тоже часть дизайна, подумал я. Не дать расслабиться.

Ручка продолжала стучать. Раз-два. Раз-два.

Директор отложил планшет. Посмотрел на меня — впервые за всё время.

— Как ты знаешь, массовый замер завершён.

Ручка замерла.

— Ты — в хвосте.

Он ткнул пальцем в воздух. Над столом вспыхнула проекция: 3.7. Алая. Пульсирующая.

— После презентации министр дала понять: наш главный актив теперь — не код, а соответствие, — директор откинулся в кресле. — Ты стал риском для госконтракта.

— Риском?

Слово вырвалось раньше, чем я успел его остановить. В нём было всё: удивление, возмущение, обида. И что-то ещё — почти смех. Я создал эту систему. Я провёл три года в лабораториях, ночами не спал, видел семью по выходным. А теперь меня называют риском.

Алекс, не поворачиваясь, мягко поставил призму на полку. Хрусталь звякнул о стекло — тихо, почти нежно.

— Томас...

Его голос был ровным. Терпеливым. Как у взрослого, объясняющего ребёнку очевидное.

— Пора понять: правила изменились.

Директор кивнул — одобрительно, как учитель, довольный ответом ученика.

— Мюллер — умный парень. Но он изучал технические аспекты задания, — короткий смехок, почти беззвучный. — А суть была в другом.

Он откинулся в кресле. Над столом возникла новая проекция — выдержка из техзадания. Пункт 4.15. Я знал этот текст наизусть — сам разбирал его сотни раз:

«...формировать управляемые социальные паттерны... минимизировать конфликтный потенциал... через перераспределение социального капитала в пользу исторически угнетённых групп...».

— Ты думал, «управляемые» — это «оптимальные»? — директор усмехнулся. — Для них «управляемые» — это «послушные».

Проекция погасла. Стеклянная столешница снова стала просто столешницей.

— Понимаешь теперь? Это не про справедливость. Это про управление рисками. Бюджеты. Квоты. Влияние. А твоя «чистая» биография... это неликвид.

Неликвид.

В голове сработал аварийный сброс. Звуки отсекались мгновенно, будто переключили аудиоканал. Осталась только вибрация пульса. И в этой тишине я вдруг услышал собственный голос, как из-под слоя ваты:

— Но тогда... тогда весь базовый принцип обучения с подкреплением... Алгоритм не оптимизирует справедливость. Он дрессирует послушание. Как строгий ошейник. Выборка смещена с самого начала. Это фундаментальная ошибка в...

Алекс повернулся.

— Перестань.

Я беззвучно выдохнул остаток уже бесполезных слов.

— Алгоритм работает так, как надо им, — добил директор, выделив ударение на последнем слове. — Заказчика результат устраивает. Твоя экспертиза больше не требуется.

Я сидел неподвижно. Смотрел на свои руки — те самые, что писали код, строили архитектуру, собирали систему. Теперь они лежали на коленях. Ненужные.

— Что вы предлагаете? — спросил я наконец.

Директор переглянулся с Алексом. Тот едва заметно пожал плечом: твой ход.

— Мы предлагаем тебе статью... понятным для MINERVA.

Директор бесшумно пошевелил челюстью, словно прокатывая во рту скользкие, как камешки, слова.

— Нужна легенда. Травма. Предрассудок. Внутренняя борьба. Что угодно, что можно оцифровать и внести в профиль.

Я поднял глаза.

— То есть выход — не улучшить систему? А исправить себя под неё?

Я посмотрел на Алекса. Ждал ответа. Хоть какой-то реакции.

Но его лицо оставалось непроницаемым — маска, отлитая в правильных чертах.

— А если я откажусь?

Алекс медленно выдохнул. Как человек, которому надоело объяснять очевидное.

Его взгляд скользнул по кабинету — по стеллажу с наградами, по креслу директора, по пустому пространству у стены — и вернулся к проекции с цифрой 3.7.

— Тогда твоё место займёт другой.

Алекс опять переглянулся с директором, и между ними пробежало что-то вроде ироничного понимания.

— Человек, чьи показатели лучше соответствуют текущему целеполаганию. — В голосе Алекса вдруг прорезалась фальшивая бодрость ведущего корпоративного тренинга. — Нейросеть MINERVA выдаст рекомендацию. Беспристрастную. Объективную.

Он выпрямился.

— И попробуй поспорь с выводом собственной системы.

Директор усмехнулся.

— Заказчик, — отчеканил он, — считает следование внутренним рекомендациям системы признаком здоровой корпоративной культуры.

Он посмотрел на меня такими же пустыми глазами.

— У тебя неделя. Подумай.

Алекс снова взял призму. Повернул в руках. Реальность разложилась на чистый, непересекающийся спектр. Никаких полутонов.

Я поднялся. Кресло скрипнуло — жёсткое, неудобное, как вся моя жизнь.

— Неделя, — повторил я. И вышел.

Дверь закрылась за мной с мягким, вежливым щелчком.

Глава 8. Разлом

Дом встретил меня порядком — ровным, мягким, как хорошо натянутая обивка: нигде не морщит, нигде не выдаёт, что под ней может быть пустота.

Сегодня этот порядок казался декорацией.

Я сел на край дивана и уставился в чёрный прямоугольник выключенного телевизора. Экран тускло отражал комнату: стол, окно, край занавески. И меня самого — силуэт без лица.

Из кухни доносились привычные звуки: тонкая струя воды, звон тарелок, шорох бумажной салфетки. Анна накрывала на стол.

— Ужин готов.

Она появилась в дверях, вытирая руки кухонным полотенцем.

Я поднялся. Ноги казались деревянными. Прошёл на кухню и сел за стол.

Три контейнера. Три стакана. Приборы лежали параллельно краю — как на фото из каталога.

Лукас сидел на своём месте, раскрыв блокнот. Готовился к школьной викторине. Болтал ногами и делал вид, что целиком занят динозаврами.

Но я видел: сын смотрит не в страницы — он слушает воздух. Он чувствовал, что что-то не так, хотя не мог понять что.

Мой коммуникатор лежал на столе экраном вверх. Я не помнил, когда вытащил его из кармана. Просто в какой-то момент обнаружил: он уже здесь.

Экран вспыхнул.

Короткое уведомление:

Доступ к проекту MINERVA приостановлен.

Свет от дисплея отразился в глазах Анны. Она прочла сообщение — и перевела взгляд на меня.

— Ну что, — произнесла она спокойно, — тебя уже вывели из проекта? Или пока просто отобрали пароль?

Лукас поднял голову. Его взгляд метнулся от матери ко мне.

Он понял: это про настоящее.

— Пап, — выпалил он слишком бодро, слишком громко, будто пытался перекрыть непонятную размолвку между родителями своим голосом, — а стегозавр больше электробуса или меньше? В длину. Нас на викторине будут спрашивать.

Я ухватился за этот вопрос, как за поручень в падающем лифте.

— Девять метров, — ответил я механически. — Электробус обычно двенадцать. Значит, стегозавр меньше. Но выше, если считать пластины.

Я вспомнил ещё один факт и добавил:

— А мозг у него был с грецкий орех.

Лукас улыбнулся.

Анна поставила стакан на стол.

— Сын хотел поговорить. А не получить справку из энциклопедии.

Я вдохнул. Воздух пошёл тяжело.

— Анята, — я применил старый приём, который разряжал намечавшиеся семейные ссоры: назвал жену русским ласкательным именем. Её всегда умиляло, как я произносил — «Анютга». — Мне сегодня... поставили условия.

Приём спасал часто.

Но не сегодня.

Я увидел, как меняется её лицо. Оно не стало злым, не стало холодным. Оно стало чужим.

— Условия, — повторила она. — Какие? Отказаться от должности? Или от себя?

Она не повышала голос.

— Скажи, что я не права.

Я молчал. Потому что она была права.

Лукас снова уткнулся в блокнот. Слишком старательно. Дети умеют делать вид, что не слышат, когда им страшно.

— Я могу... попробовать играть по их правилам.

Фраза прозвучала почти шёпотом.

Анна смотрела на меня долго.

— Я делаю это ради нас, — выдохнул я. — Чтобы удержаться на плаву. Чтобы у нас было...

Анна подняла ладонь.

— Чтобы было что?

Я замолчал.

Она посмотрела на Лукаса.

— Вчера он спросил меня, правда ли, что папа помогает «большому брату» следить за плохими детьми в школе.

Лукас водил карандашом по странице, не поднимая головы.

— Он спросил это так, словно спрашивал про погоду на завтра, — сказала Анна.

Она сделала шаг к двери кухни, потом остановилась.

Колонка на подоконнике ожила.

— Обнаружен повышенный тон. Рекомендуется деэскалация. Включаю фоновый шум: «Лес после дождя». Хотите чай?

— Дом! — резко сказал я. — Режим тишины.

— Режим тишины активирован.

Голос исчез.

Анна смотрела на меня, и в наступившей тишине её слова прозвучали почти интимно — как признание:

— Я ухожу.

Лукас вскинул голову.

— Мама? Куда?

Его голос дрогнул.

— К бабушке, милый. Ненадолго.

— Там будут её пироги? — робко спросил Лукас, цепляясь за эту мысль как за спасательный круг.

Она улыбнулась.

— Конечно.

— А папа?

Анна на секунду задержала взгляд на мне.

— Папе нужно побыть одному. Подумать.

— О чём?

— О том, как жить дальше.

Лукас посмотрел на меня.

— Пап... а ты приедешь на мой день рождения? Он уже скоро.

Я опустил на колени и крепко обнял сына.

— Конечно. Обещаю.

Лукас прижался ко мне на секунду. Потом осторожно высвободился и подошёл к матери.

Я поднял глаза.

В прихожей стояли два чемодана.

Те самые, которые вытаскивают раз в год — на отпуск. Только сейчас они были собраны и закрыты.

Анна поймала мой взгляд и не стала оправдываться. Просто кивнула: да, я готовилась. Да, я ждала последнюю каплю. Да, чаша переполнилась.

На пороге она остановилась.

— Если решишь быть собой — позвони.

Дверь закрылась.

Щёлкнул замок.

Я остался на кухне.

Три контейнера на столе. Еда остывала. Опрокинутый стул лежал на полу — я даже не заметил, когда задел его.

Я поднял стул и сел.

На краю стола лежал блокнот Лукаса. Сын не взял его. Или — оставил.

Между страницами я нашёл сложенный лист.

Рисунок.

Человек с закрытыми глазами и широко открытым ртом. Волнистые линии расходились от лица — звук, ставший видимым.

Внизу детским почерком:

«Папа поёт».

Я долго смотрел на лист, разглядывая нарисованного себя.

Потом первая слеза упала на бумагу и расплылась, размывая карандашную линию.

Вторая.

Третья.

Я не вытирал их.

За окном город жил своей жизнью. Дроны чертили в небе аккуратные световые траектории.

А я сидел на кухне, держал в руках рисунок сына и плакал.

Глава 9. Визит к фрау Хубер

Квартира фрау Хубер была не просто старой — законсервированной. Как музей, где вещи живут дольше людей и не терпят чужого тепла. Тяжёлые гардины висели без складки — как в зале, где занавес больше не поднимают. Потемневшие рамы картин хранили лица, которые уже некому узнавать. Рояль — чёрный, зеркальный, без пылинки.

Тишина здесь была густой, вязкой: она глотала уличный гул и возвращала мне только моё дыхание. Дыхание казалось лишним.

Фрау Хубер сидела за роялем спиной и полировала одну клавишу — «ля» первой октавы — кусочком замши.

— Ну, — произнесла она, не оборачиваясь. — Выдохни и говори.

Я промолчал.

Слова, которыми я думал годами, здесь превращались в мусор. «Параметр». «Вес». «Ошибка». Внутри всё было разорвано на неопрятные клочья: стыд, вина, страх, нежность.

— Двенадцать лет, — ударила она по «ля». — Двенадцать лет ты оставлял своё нытьё в прихожей. А сегодня принёс.

Фрау Хубер чуть повернула голову — я увидел только линию скулы.

— Выплюни его!

Я попытался. Вышло гортанное, короткое — не голос, срыв.

— Не то, — поморщилась она. — Ты не поёшь. Выдавливаешь воздух, как из тьюбика. Лёгкие закрыты, диафрагма зажата. Пой — или уходи.

— Я... не могу... просто... — голос дрогнул на «могу».

— А тогда в церкви мог? — перебила она.

Память потекла сразу — запахом мокрого камня, свечного воска и длинной, ровной ноты, висевшей под сводами. Промокший до костей, я врываюсь в пустую церковь — прячась от дождя, от себя. Скамьи чёрные, холодные. Каменный пол мокрый. Воздух пахнет сыростью и свечным воском.

У колонны — женщина. Неподвижная. Она не поёт, не молится — тянет один звук на гласной, будто ведёт по длинной невидимой нити. Вокализ: музыка, в которой не спрятаться за текст.

Я тогда впервые за долгие годы заплакал — тихо, по-детски, без стыда.

Так я познакомился с фрау Хубер. И с тех пор почти каждую пятницу приходил — услышать тот звук. Или однажды суметь издать такой же.

— Вспомнил? — голос вернул меня в музейную тишину. — Тот мальчик умел слышать. Умел принимать. А ты... разрешаешь себе этот звук только украдкой. Как вор. Боишься, что карточный домик рухнет, если признаешь его вслух.

Я закрыл глаза. Хотелось спрятаться от её взгляда — хотя она почти не смотрела.

И от себя.

Фрау Хубер с силой ударила по клавишам. Звук — оглушительный, яростный.

— Видишь эту ноту? — она ударила снова. — Она существовала за триста лет до твоего индекса! И будет существовать, когда вашу систему сожрёт следующее безумие!

Замолчала. Вгляделась в моё лицо.

— Думаешь, это первый социальный эксперимент? «Не соответствует духу времени»... О да.

Подошла к шкафу, достала толстый пыльный том. На фотографии — молодые люди на сцене, на заднике молот и циркуль в венке колосьев.

— Я преподавала в консерватории пятнадцать лет. — Голос приобрёл новые обертоны. — Уволили в девяностом. «Не соответствует новому духу времени».

Она фыркнула — в этом звуке было столько презрения, что я вздрогнул.

— Я учила студентов одному: голос — не инструмент карьеры. Он — зеркало души. В нём все твои трещины, шрамы, вся твоя правда. А если душа замолчала...

Она резко захлопнула книгу.

— ...голос становится красивой оболочкой. Пустой скорлупой.

Посмотрела на меня. Во взгляде — бездна усталой мудрости.

— Ты пришёл, потому что душа задыхается. Она кричит в тебе, а ты пытаешься засунуть её обратно — в коробочку с надписью «соответствует». Не получится. Пой.

Я попытался представить: я никто. Не Томас Мюллер, не создатель системы, не муж, не отец. Не индекс. Не функция. Просто место, способное звучать.

Вдохнул.

Воздух обжёг грудь.

И звук пошёл.

Нота была чистой — она не рвалась наружу, она заполняла пространство, заставляя воздух звучать вместе с собой.

Фрау Хубер кивнула один раз. Коротко. Как врач, услышавший сердцебиение.

— Ладно. Принимается.

Потянулась к вазе на рояле. Рука застыла на секунду — выбирала. Достала неровное яблоко с тёмным боком. В магазине такое бы отбраковали. Протянула мне.

— Возьми. На память.

— Это... что? — вырвалось у меня. — Похвала?

— Это факт, Томас. А факты — единственное, что ещё можно держать в руках.

Я вышел на улицу, сжимая холодное яблоко. Подъезд хлопнул дверью, отрезая тишину.

У фонарного столба стоял чернокожий парень. На футболке — самодельный принт: «Нужна ТРАВМА? Обращайтесь!» и QR-код. На листе картона, прислонённого к столбу — одна строчка, объявление о распродаже боли:

«Легенда мигранта из Судана — 350 €. Наличные. Гарантия подлинности».

Я скользнул взглядом. Даже не удивился.

Парень шагнул навстречу:

— Эй, сэр! История нужна? Очень правдивая. Слезы, война, лодка — всё есть. Под ваш стиль сделаем. Хотите — ребёнок потерянный. Хотите — мать. Хотите — религия.

Я остановился. Не потому что заинтересовался — кольнуло в груди: всё продаётся. Даже то, что должно быть неприкасаемым.

— А если своя? — спросил я.

Парень пожал плечами.

— Своя хуже продаётся. Своя — без гарантии.

Я пошёл дальше. Яблоко холодило ладонь. Единственный факт, который не требовал подтверждения.

Глава 10. Звонок в дверь

В дверь позвонили.

Два раза. Пауза.

Ещё один.

Ритм был слишком уверенный. Так звонят либо курьеры, либо те, кто пришёл не просить.

На экране домофона появилась незнакомая женщина. Лицо — приятное, ухоженное, с той профессиональной доброжелательностью, что лежит ровным слоем, как тональный крем, скрывая любые поры сомнения.

— Томас Мюллер?

— Да.

— Добрый день. Я Мари Лоран, сотрудник Центра по защите молодёжи. Могу войти? Речь о вашем сыне, Лукасе.

Я заставил себя нажать кнопку. Палец был чужим: я нажимал — а внутри всё сопротивлялось.

Она поднялась быстро. Минута — и чиновница застыла на пороге с короткой, безупречной улыбкой.

— Спасибо.

Перед тем как пройти в зал, её взгляд задержался на рисунке, оставленном на диване. Потом — на одинокой кружке в раковине. И на яблоке на столе. На яблоке — на секунду дольше.

Я предложил стул.

— Я ненадолго, — произнесла Лоран, не садясь.

В руках у неё был тонкий планшет с логотипом центра. Экран вспыхнул мягким светом. У меня в животе похолодело: я узнал это свечение. Так светятся интерфейсы, привыкшие решать судьбы.

— Как вы знаете, — начала она ровно, — с начала этого месяца MINERVA консультирует все социальные службы, включая нашу. Она определяет и классифицирует риски для детей и молодёжи. По её оценке ваш случай требует внимания.

Она повернула экран так, чтобы я видел свою фотографию и личные данные. Рядом горели красные цифры: 3.7.

Я не мог оторвать взгляд от них. Цифры вдруг превратились в извивающиеся змеи, готовые кинуться на меня.

— Ваш интегральный индекс подпадает под диапазон, предусматривающий процедуру финансовой коррекции, — голос Лоран стал чуть тише, почти доверительнее, как у врача, сообщающего диагноз. — Со следующего месяца, если не произойдёт улучшения, ваши счета перейдут под управление алгоритма «Социальный базис». Только партнёрские магазины. Только одобренный ассортимент. И автоматический перевод двадцати пяти процентов в фонды инклюзивного развития. Это новый уровень солидарности.

Я кивнул. Я знал: такая возможность заложена в систему. Сам участвовал в архитектуре этой логики — когда-то, давно, под другими лозунгами.

Просто не думал, что однажды эта логика найдёт мой адрес.

— Но деньги — вторичны. Нас волнует Лукас. Детская психика пластична. А пластичность — это уязвимость. Контакт с ценностями, диссонирующими с общественной этикой... — Лоран осторожно подбирала слова, — это форма психологического загрязнения.

Я слушал, но смысл её фраз отскакивал от меня, как горох от стены. Я видел движение губ, слышал звуки — а внутри нарастал гул, низкий и знакомый. Тот, что приходит перед паникой.

— Мы даём ребёнку инструменты фильтрации, — продолжила Лоран. — Вы понимаете? Я механически кивнул.

— Я буду вашим куратором. Визиты раз в две недели. Оценка домашней среды. И обязательные сессии для Лукаса с нашими психологами. Чтобы нейтрализовать деструктивные паттерны.

Нейтрализовать. Паттерны. Будто речь о вирусе в системе.

— У него есть мать, — наконец выдавил я. — Он сейчас у неё.

— Анна Мюллер, индекс гармонии 5.2, — мгновенно откликнулась Лоран. Её улыбка стала сочувствующей — и оттого ещё более фальшивой, как бумажный цветок на похоронах. — Мы видим. Это смягчает. Значит, работа — с вами. На качестве контакта. Мы составим протокол встреч. Каждая игра, каждая беседа — терапевтическая. Направленная на компенсацию.

Мои пальцы непроизвольно сжались в кулаки.

Протокол встреч.

Каждая игра — терапевтическая.

Это означало: между мной и сыном теперь всегда будет стоять третий. Не человек — оценка.

Лоран выключила дисплей — жест был почти милосердным.

— Если через три месяца экспертная система придёт к выводу, что компенсация неэффективна, — её голос стал бархатным, почти ласковым, — мы передадим дело в суд, который рассмотрит необходимость ограничения контактов родителя с ребёнком. Или временного размещения Лукаса в среде со здоровой этической экосистемой. У нас есть прекрасные семьи-наставники.

Она сказала это спокойно, уверенно.

— Мы не забираем детей, господин Мюллер, — добавила она, глядя прямо в глаза. — Мы их защищаем. От всего, что может искалечить. Даже от любви, если она токсична.

Я хотел сказать: «Вы не имеете права».

Но право — это тоже часть системы. А система сейчас стояла передо мной в виде женщины с планшетом и ровным голосом.

— Первая встреча через месяц. Все детали — в приложении. Хорошего дня.

Она развернулась и вышла.

Дверь закрылась с беззвучным, герметичным вздохом — как шлюз.

Я остался стоять.

Секунда. Другая.

И потом волна ударила из того самого места под рёбрами, где зарождался холодный ком. Она выросла не из страха за себя. Это было другое: животный ужас за сына. За Лукаса.

В голове одна за другой вспыхивали картинки:

Лукас в чужой «правильной» комнате.

Лукас, который смотрит на меня через стекло в присутствии куратора и улыбается — отрепетировано, как на школьном фото.

Лукас, которого учат фильтровать. Фильтровать отца.

Очищать себя от моей любви, объявленной токсичным отходом.

Колени подломились. Я сполз по стене на корточки, не в силах удержать вес собственного тела. Строгий ошейник системы, которую я создал, безжалостно впился в мою шею. Из горла вырвался сдавленный стон — грязный, лишённый слов, тот самый, который фрау Хубер заставляла превращать в голос.

Я мотал головой, глухо стуча затылком о стену, бормоча сквозь спазмы:

— Нет... нет-нет-нет... Лукас... только не его... не смейте... не смейте...

Паника пожирала меня изнутри.

Они заберут. Они уже почти забрали.

У них есть протокол, MINERVA, «семьи-наставники», суд, приложения.

У меня — кружка в раковине. Рисунок на диване. Яблоко, которое не прошло отбор.

И в самой гуще этого ледяного огня что-то внутри меня сдвинулось.

Ужас не исчез.

Просто перестал быть жидким.

Кристаллизовался в твёрдую, невероятно острую глыбу — решимость.

Они.

Не получают.

Моего сына.

Глава 11. Ночные поиски

Я резко ударил кулаком по полу. Боль — резкая, ясная — прошла руку и отдалась в локте. Хорошая боль. Настоящая.

Боль стихла, оставив тупое эхо вопроса, который подспудно грыз меня последние недели: Почему?

Не «за что». Это вопрос наказанного. «За что мне это?» — так спрашивает жертва.

А «почему» — вопрос инженера к сломанному механизму. Почему алгоритм, логику которого я выстраивал модуль за модулем, отбросил меня в статистический мусор?

Почему в одно мгновение моя жизнь рассыпалась в прах? Почему сын оказался под ударом? Почему, в конце концов, мой индекс — 3.7?

Я резко поднялся.

Прошёл в кабинет и открыл шкаф. Под стопкой бумажных мануалов лежал внешний диск — замороженный слепок системы. Архив. То, что у меня ещё не отобрали.

Подключил диск к ноутбуку. Экран вспыхнул знакомым интерфейсом симулятора. Никакой эстетики — только функционал.

Я ввёл свои параметры в тестовую форму:

Пол: мужчина

Раса: европеоид

Ориентация: гетеросексуальная

Образование: высшее (магистр)

Профессия: инженер высшей квалификации

Доход: стабильный, выше среднего

Верифицированный статус угнетения/уязвимости: отсутствует

Пальцы задержались над последней строкой. «Отсутствует» выглядело слишком аккуратно. Слишком удобно для системы.

Я нажал «Рассчитать».

Экран выдал:

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДИАПАЗОН ИНДЕКСА: 3.0 – 5.0

ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ ТРЕБУЕТСЯ ЗАГРУЗКА ЛОГОВ СОЦИАЛЬНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ И ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ПАТТЕРНОВ

Без эмоций. Просто факт. Холодный. Вежливый. И — я это чувствовал — абсолютно бесполезный. MINERVA постоянно требовала больше данных. Больше слоёв. Больше доступа. Ей всегда было мало.

Я открыл архив технического задания — тот самый документ на пятьсот страниц, который раньше читал по диагонали, вынимая только серверные требования. Теперь искал там не параметры. Улики.

Нашёл.

Пункт 4.4.

Он был написан мягко, как инструкция к лекарству. От этого казался ещё опаснее.

«...гармонизация социального ландшафта через вовлечение „нейтральных субъектов“ (категория V-0) в диалог с носителями опыта уязвимости для преодоления неосознанных барьеров синергии... методы: мягкое стимулирование, калибровка социального капитала...»

Раньше я видел здесь набор модных слов. Теперь, с ключом 3.7 в руке, видел механику.

«Мягкое стимулирование» — подталкивание, поощрение правильного поведения, штрафы за неправильное. Только слово «штраф» никто не произносит — оно звучит жестоко.

«Калибровка социального капитала» — перераспределение привилегий. У одних отнять, другим дать. И обязательно объяснить, что так справедливее.

Мой собственный, вежливый язык. Для чужих рычагов.

Я откинулся на спинку кресла. Кожзам скрипнул.

А что, если «гармония» была не целью? А красивым названием для чего-то другого?

Я вспомнил директора: «Это не про справедливость. Это про управление». Снова полез вглубь архива.

Папка «Контекст» была помечена чёрной иконкой — как предупреждение: сюда лучше не заходить без причины. Я щёлкнул.

Первым документом оказался файл с невинным названием:

«Меморандум о неэффективности исторических моделей справедливости»

Автор: Элио Штерн

Дата: 2034 год

Я открыл.

Первая строка ударила меня, как пощёчина:

«Исторические модели справедливости опирались на субъективную мораль, что создавало системный шум. Мы исправим эту ошибку, заменив абстрактное сочувствие вычислительной оптимизацией».

Я перечитал. Потом закрыл глаза.

И вдруг — не вспомнил, а почувствовал.

Запах.

Свежий кофе. Дорогой парфюм. И еле заметная гарь.

Память не спросила разрешения. Она просто перенесла меня назад. В день, который я прожил, но, кажется, так и не услышал.

Глава 12. Идейный контекст

За три года до этого. Ноябрь 2034 года.

Внутри конференц-зала «Лаборатории гуманитарных технологий» было тепло и слишком светло. Потолочные лампы давали такой белый свет, что, казалось, он стирает тени с лиц, делая их похожими. Запахи спорили между собой: свежий кофе, дорогой парфюм и еле заметная гарь — призрачный отголосок двухлетнего кризиса, от которого Европа только начала отползать.

В зале сидели люди, которые называли себя не философами и не политиками, а архитекторами смысла. Они говорили о реальности как о тексте, который пора переписать. Прежний — с его свободами, рынками и кризисами — довёл Европу до грани распада.

Я стоял у стены с планшетом, где набросал вопросы по первой версии техзадания MINERVA. Я не любил гуманитариев. Слишком много слов, слишком мало определённости. Но именно здесь решали, какие слова станут законами.

На сцене женщина с седыми волосами эмоционально вещала в микрофон:

— Мы исчерпали лимит доверия к старому правопорядку! — Она словно печатала каждое слово и махала руками, как будто забивала гвозди в крышку гроба старого мира.

Дальше пошли «смена парадигмы легитимности» и «деконструкция старых нарративов».

«Легитимность» — это «кого слушаются». «Нарративы» — это «истории, в которые верят». Я мысленно сворачивал пышные формулировки до сухой основы. Получалось скучно, но хотя бы ясно.

Аплодисменты — короткие, формальные. Женщина ушла со сцены. Её сменил Элио Штерн с меморандумом. Затем обсуждение перетекло в кулуарный режим. Люди перестали говорить для микрофонов — начали говорить друг с другом. Между своими.

Я двинулся к кофейному столу. Там, возле чашек и тарелок с печеньем, стоял пожилой мужчина в идеально сидящем пиджаке. На его бейдже было написано: профессор Марк Фуко-Леви.

Когда я подошёл, профессор заговорил первым.

— Вы из технической группы?

— Да. «Инклюзив-360». Модели и системы оценки.

— Прекрасно! — профессор положил руку мне на плечо. Жест был почти нежным и одновременно собственническим. — Наконец-то появились руки, которые воплотят наши мысли. Скажите, вы уже поняли, что здесь происходит?

Я немного замялся, пытаясь подобрать честную формулировку.

— Вы ищете новую легитимность, — сказал я наконец. — После того как экономическая перестала быть убедительной.

Профессор улыбнулся — легко, почти благодарно.

— Именно. Главный дефицит будущего — не деньги, а социальный мир. И если мы хотим удержать общество от распада, нам нужен новый язык. Новые правила. Новая справедливость.

— Какая? — спросил я.

Профессор произнёс три слова слитно, как формулу:

— Разнообразие. Справедливость. Инклюзивность.

Я кивнул, хотя внутри дёрнулось. Я слышал эти слова сотни раз. Но каждый раз они означали что-то новое.

— Я понимаю потребность в рамке. Но кто задаёт критерии? Кто решает, что считать «справедливым», а что — нет?

Профессор взял чашку, сделал глоток, и неторопливо поставил обратно на стол.

— Мы не решаем, что правильно, — сказал он. — Мы решаем, кому было больнее.

— Это разные вещи.

Фуко-Леви посмотрел на меня поверх очков.

— В старом мире — да. В новом — нет. Еще десять лет назад мы считали, что Европа — это сад. Ухоженный, возделанный, просвещённый. Нужно лишь, чтобы садовники не допустили вторжения в сад внешних джунглей. Но кризис показал, что джунгли уже здесь. Джунгли идей, джунгли эмоций, джунгли неконтролируемой агрессии. И наша задача не в том, чтобы построить внешнюю стену. Надо создать внутри сада такую среду, чтобы у джунглей просто не осталось питательной почвы. Где сама идея хаоса станет... невыносимой.

Профессор продолжил, чуть наклоняясь вперёд:

— Молодой человек, вы боитесь произвола, потому что вы инженер. Вам нужны цифры, доказательства, верификация. Вы хотите, чтобы мораль была похожа на математику.

Я ощутил укол: слишком точно.

— Я просто хочу, чтобы власть не пряталась за моралью.

— Власть всегда прячется за чем-то, — мягко сказал профессор. — За традицией, за рынком, за безопасностью. Разница лишь в том, признаём мы это или продолжаем делать вид, будто всё случилось само.

Он говорил спокойно, как будто не о людях, а о настройках роутера.

— Мы не истина, молодой человек. Мы — протокол. Временный, но необходимый. Если вы строите компьютер, который поможет обществу не разорвать себя, кто-то должен написать для него язык программирования.

Я услышал это как инженер. В этих словах было желание не «обсуждать», а «запустить».

— А если программа ошибётся? — спросил я.

Профессор сделал еще глоток и отодвинул опустевшую чашку.

— Тогда будем исправлять. Быстро. Жёстко. Пока цена ошибки не стала ценой распада.

Я хотел спросить о границах. О правах. О том, кто именно будет «исправлять». Но уже понял: разговор не про границы. Разговор про право устанавливать границы.

— Вы говорите о коррекции восприятия, — сказал я. — О том, чтобы принуждать людей видеть «правильно».

Профессор поднял бровь.

— Мы говорим о том, чтобы перестать считать «правильным» то зрение, которое десятилетиями было привилегией белых, богатых, здоровых мужчин. Пора уступить место другим.

Я замолчал. С такими формулировками нельзя спорить. Любое возражение автоматически делает тебя защитником «старого порядка».

Рядом возникла молодая женщина с розовыми прядями. На бейдже: Лина, «Сеть солидарности». В глазах — огонь убеждённости. Она слышала последние фразы.

— Проблема в том, что у людей разные стартовые условия, — сказала она. — Одним с рождения достаётся уважение, безопасность, право голоса. Другим — унижение, страх, безразличие власти. Если вы просто введёте нейтральные правила, вы закрепите эту несправедливость. Потому что нейтральность — это когда сильный не замечает, что давит на слабого.

— Нейтральность нужна, чтобы не уйти в произвол, — возразил я.

Лина чуть улыбнулась — не мне, а какой-то своей мысли.

— Произвол уже был. Просто его называли «нормой». А теперь вы предлагаете сохранить эту норму, потому что боитесь, что новая система ошибётся. Но старая система ошиблась столько раз, что мы даже считать перестали.

Она говорила горячо и убеждённо. Я чувствовал: за её словами — настоящая боль. И это делало спор почти невозможным.

— Вы боитесь мошенников, которые подделают уязвимость, — продолжила Лина. — А я боюсь, что мы снова отдадим право говорить тем, кто умеет говорить громче. Подделки будут — да. Но если мы ничего не сделаем, станет хуже. Мы просто вернёмся к миру, где сильный называет свою силу «здравым смыслом».

Я открыл на планшете папку с расчётами. Повернул экран к профессору.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.